

18+

Мария Романушко



В СВЕТЕ СТАРОГО СОФИТА

роман-трилогия
«Тобережье памяти»
книга первая

Мария Романушко

**В свете старого софита.
Роман-трилогия «Побережье
памяти». Книга первая**

«Издательские решения»

Романушко М.

В свете старого софита. Роман-трилогия «Побережье памяти».
Книга первая / М. Романушко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-513196-6

Москва, конец шестидесятых — начало семидесятых годов 20 века. Молодая девушка из провинции оказывается в столице... На страницах этого романа — много ярких, запоминающихся образов: клоуны Леонид Енгибаров и Юрий Никулин, поэты Людмила Окназова и Евгений Долматовский, художники Валерий Каптерев и Василий Ситников, исследователь «театра абсурда» Игорь Дюшен, и множество других замечательных людей, без которых невозможно представить себе Москву того времени...

ISBN 978-5-00-513196-6

© Романушко М.
© Издательские решения

Содержание

Побережье памяти	6
Я иду...	6
Я не знаю	9
О любви	11
В свете старого софита	13
Московская пустыня, или Музыка одиночества	14
Дождь на «Соколе»	14
Бумажные горы и белые хризантемы	31
Зима с запахом горячего сургуча	40
«Томбэ ля нэжэ...» Падал снег...	50
Поддубки	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

В свете старого софита Роман-трилогия "Побережье памяти". Книга первая

Мария Романушко

Иллюстратор Мария Романушко

© Мария Романушко, 2020

© Мария Романушко, иллюстрации, 2020

ISBN 978-5-0051-3196-6 (т. 1)

ISBN 978-5-0051-3197-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Побережье памяти *(вместо предисловия)*

Я иду...

...Я иду по побережью памяти, как по берегу океана...

Земля, суша – это моё настоящее, моё сегодня. Пожалуй, это остров. Хотя когда-то он мне казался планетой. Наверное, оттого, что я сама была маленькая, и каждый камушек на дороге представлялся мне горой, а травы – деревьями...

Но я уже выросла. Хотя продолжаю расти. И теперь отчётливо вижу, что живу на острове в океане. Куда ни посмотри, в любую сторону – везде увидишь океан... Океан, который омывает мой остров, – это моё прошлое. С каждым днём океан всё более овладевает моей сушей, но меня это не страшит.

Даже если не смотреть в сторону океана – всё равно нельзя не чувствовать ветров, которые дуют оттуда: то ласковых, то жёстких... А они дуют всегда. И с какой бы стороны света они ни дули – на моём острове они всегда дуют с океана...

...Я люблю гулять по побережью – по самой кромке суши и воды. Люблю брести по песчинкам времени, утопая в них, люблю чувствовать себя связующей нитью между сушей и океаном, между прошлым и настоящим...

Это – моя суша, зелёная и каменистая, пустынная и степная. На моём острове есть всё. Он богат впадинами и высотами, дождями и засухами. Но всё меньше на моём острове неоткрытых мест и нехоженных троп. Пожалуй, остались только вершины гор. К счастью, я не боюсь высоты. Так что мне есть ещё куда пойти на моём острове. К тому же горы мои – необычные. Они растут. Растут вместе со мной. Поэтому мне ещё долго не подняться на их вершины... И это меня радует.

Вершины гор и глубины океана – они одинаково влекут меня. Чем выше я взбираюсь по отрогам скал – тем необъятнее мне представляется океан. И только с побережья я вижу, как высоки мои горы, и что за видимыми вершинами громоздятся новые, не видимые, когда находишься вблизи. Растут мои горы, и расширяется мой океан...

У каждого ветра, который дует с океана – свой запах. Прошлое как будто закодировано в этих запахах. Если бы я была учёным, я бы сказала, что запахи – это микрочастицы материи, и каждая частица содержит полную информацию о целом. Думаю, что по молекулам запаха учёные когда-нибудь научатся восстанавливать целые эпохи и отдельные исторические события. А если бы я была доктором, я бы сказала, что запахи – это гомеопатические дозы прошлого, которые спасают нас от амнезии, но ввергают порой в ностальгию. Но я поэт, и для меня запахи – это самая настоящая машина времени. Так что я путешествую по океану времени в личной машине времени.

Да, когда-то моя суша казалась мне континентом... Хотя на самом деле была островом. И обжито на этом острове было лишь одно маленькое пространство, точнее – уголок. Такой уютный уголок... Здесь пахло петуниями, вишнёвым вареньем, маленьким южным двориком, старой деревянной верандой. А ещё сюда долетал запах... цирка! Жителей было всего несколько человек: кроме меня, мои мама и бабушка. Плюшевый медвежонок и кукла Жанна. Мне очень хотелось тогда, чтобы здесь жил и мой отец, но – увы!..

Но настал час – и мой остров сказочно расширился: на нём обнаружилась цветущая степь до горизонта, и в этой степи мы играли с моим обожаемым отцом... Это было незабываемо, но так коротко!.. Ещё на этом острове пахло летними грозами, бурной рекой с водоворотами и волшебным тенистым лесом...

И вдруг мой остров резко и неожиданно опустел, здесь опять, сухо и терпко, запахло степью, степью... только это была уже совершенно другая степь, и я бродила по высохшим, пыльным травам совершенно одна... и жёсткий ветер сушил слёзы и душу...

Но в какой-то момент жизни мой пустынный, высушенный ветрами остров соединился с цветущим континентом, мой остров прибило к континенту ветрами одиночества, и остров превратился в полуостров, доступный многим, желающим его посетить. Граница между островом и континентом в то время была совершенно не видна. Остров как будто припаяло к континенту. Вот тогда-то людей здесь было много!.. И много, много запахов хлынуло сюда в ту пору... Запах дорожных шпал и метелей... Запах масляных красок и старинных черепков... Но сильнее всего здесь пахло цирком! Цирком, лошадьми, кулисами пахло до головокружения!..

А потом – резко – запахло кладбищем. И – церковью. Казалось: никаких других запахов в моей жизни уже не будет... Хотя были, были в это время и другие, но эти два довлели надо всеми...

И вновь мою сушу оторвало от континента. И она опять стала островом. Чтобы остаться им уже навсегда. Долгое время здесь жили только два человека – я и мой маленький сын. В то время здесь царил запах детства – о, это совершенно особый запах!.. Здесь пахло настурциями и летним заливом, тёплыми песочницами и солнечным, смолистым сосновым лесом, ласково шуршащими дождями и волшебными мохнатыми метелями, и смешной черепахой, любящей макароны рожки, пахло детскими одежками, гречневой кашей, пластилином, размятым в тёплых ладошках сына, и банками с инфузориями, а ещё пахло хвощами, древесными грибами и крымскими гербариями... А ещё – старой-престарой пишущей машинкой и свежей писчей бумагой...

А потом... потом нас на острове стало четверо! Ну, сначала, конечно, трое, а потом уже четверо. Но вообще-то, гораздо больше!.. А сколько чудных запахов!.. Маленького деревенского дома и яблочного сада с цикадами, и вновь – крымскими горами и крымским домиком с маленькой терраской, и вновь – головокружительный запах детских одежек, и масляных красок, и дорожных шпал, и новых книг, и ещё одного маленького домика среди высоких задумчивых ёлок... А ещё здесь поселился запах задумчивого дымчатого кролика, и пёстреньких японских курочек, и двух милых крысок, и смешного ёжика, и – лошадей!..

Сейчас на моём острове не так уж много жителей. Да, всего четыре человека. Хотя... сын всё чаще в пути, где-то далеко-далеко... ему давно уже мало острова, ему мало даже континента... ему подавай всю планету! Да и у дочки появились свои дивные острова. Она то тут – то там... И это нормально, ибо это – жизнь. Главное, чтобы не было скучно друг с другом нам с тобой, милый, – тем, кто здесь остаётся.

Хотя... вот ведь какая штука. Мой остров – это ведь только мой остров. Всё-таки ты – не островной человек, ты – континентальный. Как часть меня, как моя половинка, как составляющая моей судьбы – ты здесь. Но мы не идентичны. Всё-таки мы – два разных человека. И у каждого – своя жизнь, своя судьба. И своё побережье памяти...

* * *

Я привыкла к тому, что на моём острове безлюдно, и не стремлюсь к новым друзьям. Мои дружбы – их унесло океаном... они – в прошлом... в прошлом... прошлом... «Шшш»... «шшш»... – накатывают волны на берег...

* * *

Всё чаще и чаще меня тянет пройти по побережью – по самой кромке, чтобы ощутить солёные брызги на лице – то ли брызг, то ли слёз... Побережье представляет собой удивительно живописную картину. Вот это – моя суша. Это – мой океан. А это – разделительная черта: побережье. Моё побережье. Я очень богата. Но только я одна знаю, чем я владею.

У моего побережья причудливый, живописный рисунок. Здесь имеются уютные бухты, где я отдыхаю душой. Здесь – и широкие ветреные заливы, где душу охватывает тревога и печаль... Берег то полог – то обрывист, то зелен – то сух и каменист... то ласкает ступни, то больно колет и режет. Но, несмотря на ощущения, идти по побережью нужно всегда босиком.

Порой мне кажется, что линия побережья памяти изучена мной, как линия жизни на собственной ладони. Но – нет. Вон какая-то крошечная речушка доселе невысказанного проточила мою сушу и вырвалась к океану, изменив линию побережья. А здесь – сильные, непрерывные дожди раздумий сгладили угрюмый откос, превратили его в ласковый, пологий берег с нежнейшим песочком... А здесь – ветры печали изрезали, как морщинами, некогда цветущий, радостный склон... превратили его в сыпучие, песчаные отроги, по которым и ходить опасно: гляди – засосут...

Всё меняется. Тёмные ущелья, нависшие над пучиной вод, уже не пугают – главное, уловить тот момент, когда они озарены солнцем мудрости – и тогда увидишь, что там совсем не страшно, как казалось прежде.

Всё меняется: что-то – незаметно, а что-то – резко. Вдруг какая-то часть моего острова обрушивается и в одночасье становится частью океана... А в другом месте океан ненавязчиво и незаметно захватывает территорию. Приходишь на свой любимый бережок – а его уж и нет, одни волны гуляют... Думала: это ещё в настоящем, а всё – уже в прошлом... Думала: это ещё реальная жизнь, а оказалось – уже память о ней...

Случается, однако, когда океан выносит на побережье то, что захватил раньше времени, но всё это в таком раздробленном виде... Можно, конечно, насладиться красотой осколков, можно даже попытаться сложить из них целостную картину, но всё равно не отпускает мысль о том, что вся эта красота принадлежит уже прошлому... всё равно нахлынет очередная волна – и унесёт её уже навсегда...

Что же мне остаётся?.. Ну, не так уж и мало. Прежде всего – каждый день, по мере своих сил, совершать восхождения на свои любимые горы. А, иначе, зачем они так призывно сверкают снежными вершинами?..

А в часы раздумий – бродить по берегу океана памяти, неумоимо зарисовывая меняющуюся линию побережья... (Мне с детства хотелось быть художником.)

* * *

Но когда-нибудь... когда-нибудь я вновь соединюсь со всем, что было отнято у меня океаном... когда-нибудь... – когда я сама стану каплей океана...

Я не знаю

Я не знаю, для кого я пишу свои книги.

Да и может ли об этом знать цветок, цветущий посреди безлюдного острова?..

А вдруг – никто его и не сорвёт? Даже и не увидит... И не ощутит его аромата.

А вдруг – никто их и не прочтёт, мои книги? А кто-то прочтёт – да не поймёт. Не поймёт самого главного. И скажет: ты всё про то же. Хотя ты об этом уже писала тысячу раз!

И он будет прав.

Я всё про то же...

Зачем мне это надо – не знаю.

Просто я этим живу. Дышу. Пишу – дышу – живу.

Хотя писание физическое происходит очень редко. Но в голове (и там – ещё глубже) это происходит постоянно. Даже когда сплю. Хотя сплю я совсем мало.

Я ни для кого не стараюсь. И никому не хочу ничего доказать. Или чем-то удивить. Я не хочу кем-то или чем-то казаться. Мне это совершенно не нужно. И не интересно.

Я никогда не писала для денег. Или для славы. Хотя эта дорожка была передо мной открыта. Как перед каждым пишущим. Но я по ней не пошла. Не захотелось. Ясно увиделось: пойди я по ней – и очень скоро это буду уже не я. И слова на бумаге – будут уже не мои. Для денег, или для славы – но не для Бога.

* * *

...Но, сказав грустные слова: «Может, мои книги никто и не прочтёт», – я сказала абсолютную неправду. Точнее так: я имела в виду других людей, иных – тех, с континента...

Говоря так, я не имела в виду моих дорогих и любимых – мужа, сына, дочь. Вот они – мои читатели, пониматели, ценители. И пишу я, прежде всего, для них, конечно. Им я посвящаю свои книги, им я дарю свою любовь, свои воспоминания, свои мысли – как дарят цветы: берите! это – вам! я вас люблю!

...Хотя когда-то я надеялась на то, что мои книги попадут на Большую Землю. И, благодаря им, что-то там изменится – станет меньше зла и больше любви. И люди будут более внимательно и нежно относиться друг к другу, и чаще говорить друг другу добрые слова. И взрослые научатся понимать своих детей. И будут их беречь.

Но пока этого не случилось. Пока Большая Земля не принимает меня. Там у людей совершенно другие ценности и интересы. Пока...

И всё же... порой... (каждый раз это так неожиданно и радостно!) вдруг – на моём острове оказывается человек с Большой Земли! Случается – доселе мне не знакомый.

Как они доплывают до моего острова?.. Ну, кто как. Кто-то на вёсельной лодочке, кто-то на плоту, а кто-то и вплавь... Но все при этом говорят, что добраться до острова было легко, несмотря на его удалённость от континента. И вот что самое удивительное: все, как один, утверждают, что помогли им доплыть... мои книги! Ведь там много ясных ориентиров: как плыть, и куда.

Ах, это всё Ветры Судьбы!.. Ветры Судьбы порой пронесаются над нашей планетой, над моим островом и, подхватив на свои крылья мои книги, уносят их на континент...

Ну, ещё мои любимые – муж и наши непоседливые дети – помогают моим книгам покинуть остров и найти Неожиданного Адресата.

Слова мои распылятся по свету, как цветочная пыльца...

А самое радостное то, что среди посетивших мой остров много детей. Маленьких. И подросших. А порой, вроде, совсем взрослых. Но это только с виду. Они все очень разные, эти дети: грустные – и смешливые, молчаливые – и говоруны. Но чем-то они все похожи друг на друга. У них удивительные глаза – умные, полные света и надежды... Такие же прекрасные глаза у моих родных детей. И мне кажется, что все они, все-все – МОИ дети. Я их люблю. Мне хотелось бы, чтобы все они постоянно жили на моём острове. Чтобы нам не разлучаться. Чтобы дни и ночи напролёт, всем вместе, заниматься самым разным творчеством (на моём острове столько возможностей для этого!) и говорить о самых важных вещах. О любви. О вере. О смысле жизни.

И всё же это не мои дети.

И кто-то, погостив недолго, уплывает навсегда.

А кто-то возвращается вновь и вновь...

На них – моя надежда.

Надежда на то, что они будут любить своих будущих детей, будут их беречь и при этом не лишать их свободы, будут жить радостно и говорить друг другу добрые слова...

* * *

...Когда я оглядываюсь на свою жизнь (а на неё уже можно оглянуться, ведь почти вся дорога пройдена), я с удивлением обнаруживаю, что всю жизнь мечтала только об одном. И стремилась к этому одному. И ценила только это одно. И училась этому одному. (И продолжаю этому учиться.) И страдала только из-за этого одного. И писала только об этом одном. И продолжаю об этом писать.

О любви

Собственно, писательство для меня и есть – вечное и ежечасное признание в любви. Тем, кого я люблю. И самой жизни, конечно. И – Богу, который это всё так удивительно задумал и раскрутил... Вселенную моей жизни.

* * *

Сколько себя помню, мне всегда (порой даже неосознанно) хотелось оставаться собой. Быть собой. Даже в навязанных обстоятельствах. Даже когда приходилось играть чужую роль. (К сожалению, такое случалось. Не часто, но...)

Почувствовать, понять, кем тебя задумал Господь. И быть этим – задуманным. Вот и всё. В сущности, всё очень просто. И так трудно!..

Наверное, вся моя жизнь (и все мои книги) – это путь к себе.

С Божьей помощью, конечно.

А так как в своей сердцевине я ощущаю только любовь (одну лишь любовь – без каких-либо примесей), то к ней я всю жизнь и стремлюсь. Её и ищу. Ей учусь. О ней и тоскую. О ней и горюю. О ней и пишу.

К себе настоящей – к любви истинной – к Богу мудрому и милосердному.

К вечной жизни. Которая возможна ещё тут, на земле. В какие-то лучшие мгновения...

* * *

Из всех жизненных благ я более всего ценю свободу.

Свободу быть собой. И делать своё дело, для которого ты призван в этот мир.

Свобода – это единственная реальная, не умирающая ценность. Самое большое благо.

Благо – от Бога.

Все же другие жизненные блага – это тщета...

* * *

...А книгу своей жизни лучше всего писать на маленьком острове.

В одиночестве.

И любить тех, кого любишь, – лучше всего на острове.

В одиночестве.

Один на один с Богом.

Это называется – молитва.

Вот тебе, неведомый читатель, и ответ на твой не прозвучавший вопрос: о чём и зачем мои книги?

Это – молитвы о тех, кого я люблю.

А ещё – благодарения за те удивительные минуты жизни, которые дают возможность ощутить вкус вечности.

Если хочешь – давай помолимся вместе.

Ты – о своём, я – о своём.

Но где-то – высоко – наши молитвы встретятся.

И окажется, что они – об одном...

* * *

А ещё мои книги – о той волшебной цепочке жизненных событий, которую хотелось бы досмотреть до конца...

Это мой сын меня всегда так утешает и ободряет, когда я сильно о чём-то горюю:

«Надо досмотреть цепочку событий до конца», – говорит он.

Мудрые, спасительные слова.

ДА. НАДО ДОСМОТРЕТЬ ЦЕПОЧКУ СОБЫТИЙ ДО КОНЦА.

Надеюсь, что последним событием в этой цепочке будет – Встреча.

Со всеми, кого я люблю.

Но это произойдёт лишь тогда, когда я навсегда покину свой остров.

И сама стану каплей океана...

В свете старого софита

Хотя я живу в огромном городе – всё равно я живу на острове.

Можно сказать, что мой остров – это моя крошечная квартирка на тринадцатом этаже. На северной московской окраине, где неподалёку, минут десять пешком, – тихий залив.

И когда я стою на берегу этого чудного залива, особенно когда закат... то мне кажется, что это и есть мой океан памяти. А побережье залива, живописно изрезанное, всё в таинственных бухтах и бухточках, – это и есть моё побережье памяти.

Но на самом деле мой остров – у меня внутри. В моём сердце. И мой океан – тоже внутри. Это – моя память. Моя любящая память, которая не хочет ничего и никого забывать.

...И вот я стою на берегу нашего маленького залива. И – одновременно – на берегу своего бескрайнего океана, невидимого никому, кроме меня. Осень, октябрь, на берегу ни души, только я одна, и солнце заваливается за горизонт, и золотая дорожка света бежит по воде – прямо ко мне... А к кому ж ей ещё бежать, если на берегу только я? Этот золотистый широкий луч похож на луч циркового софита... и мне вспоминается мой старенький софит, маленький и допотопный, с кремневыми углями, которые ярко и быстро сгорали...

В свете старого софита
Дверца в Прошлое открыта...

...Мой океан то и дело выносит на берег какие-то осколки, вещицы, картинки, образы, – это всё символы разных эпох жизни, в которых, как в морских раковинах, шумит давняя жизнь, слышны голоса и мелодии...

...А вот двое, он и она, (я давно их знаю, хотя мы и не знакомы), прошли по берегу моего океана – и я сразу вспомнила свою первую московскую зиму, пропахшую горячим сургучом... А вот старая телефонная будка на Ленинградском проспекте в районе метро «Сокол» – и я тут же слышу шуршание августовского дождя шестьдесят восьмого года... о крышу этой будки... Но потом старую будку сменили на новую, современную, – а место всё равно осталось для меня знакомым. А вот мокрые от снега белые хризантемы в руках у старушки на площади Белорусского вокзала – и я мгновенно оказываюсь в 22 октября 1968 года...

А ещё мой океан памяти выносит странички старых дневников, исписанные прозой и стихами... это такие волшебные странички, на которых (оттого, что они побывали в водах океана памяти) – проявляются удивительные оттенки и подробности давних событий...

Прошрое, не забытое, накатывающее волнами, делает объёмным наше настоящее. Сегодняшний день без вчерашнего – плоская картинка. Настоящее, помноженное на прошлое, – это уже голограмма.

Москва для меня – как огромная копилка с драгоценностями. Но это сейчас. А тогда – более тридцати лет назад, в моё первое московское лето – Москва казалась мне пустыней. Бескрайней каменистой пустыней... и сердцу не за что было в этой пустыне зацепиться...

Московская пустыня, или Музыка одиночества

Глава первая

Дождь на «Соколе»

...Яркий луч света выхватывает из марева августовского дождя красную телефонную будку на Ленинградском проспекте, в районе метро «Сокол», на углу большого детского магазина «Смена».

...Я стою в этой будке, спрятавшись от дождя, как в маленьком батискафе с запотевшими окошками, в маленьком батискафе, затерянном в бескрайней пустыне океана... На стене будки – телефон. Но нет у меня ни одного человека в этом городе, кому бы я могла позвонить...

* * *

...Декорации сменились резко и внезапно. 1968 год, июнь.

Я приезжаю в Москву. Еще вчера был крошечный городок в степи. И вдруг – Москва! Ошеломление... Восторг! Ощущение чего-то совершенно небывалого, невозможного, чего не могло произойти со мной, – но вот, случилось... Когда-то, в детстве, обожала смотреть в калейдоскоп. Любимая игрушка. Так вот: ощущение было такое, что попала внутрь этого царства...

Наконец-то я в большом городе! Я – дитя большого города. Наконец я вновь в своей стихии...

...Гуляния по Москве... Обживание нового для меня пространства...

Раньше я была в Москве всего один раз, проездом, один день, когда мы с бабушкой ехали из Оренбурга в Днепропетровск. Москва оглушила меня, девятилетнюю, и даже слегка испугала: вокзальные толпы, жара, людской водоворот в каком-то огромном магазине с фонтаном посерединке, толпа на Красной площади, духота экскурсионного автобуса... Это было девять лет назад.

...Когда-то, очень давно, я выучила Москву по картинкам набора шоколадок, которые подарил мне отец. Был такой шикарный набор в большой продолговатой коробке: большая шоколадка с Кремлём, лежащая поперёк коробки, и десять маленьких шоколадок – в два ряда, по пять в каждом – с разными московскими видами, самыми знаковыми. Больше всего мне нравился Пушкин, склонивший задумчиво кудрявую голову...

Теперь эти картинки для меня волшебным образом ожили. И вот, я сижу на скамье у памятника Пушкину – того самого, что на шоколадке, и пытаюсь поверить, что это – не сон... Я часто говорила себе в первые дни: «Это – не сон!» И, на всякий случай, больно щипала себя за ухо, чтобы проснуться. Но – не просыпалась!

Женщина на Пушкинской площади, она сидела на той же скамье, рядом, она о чём-то спросила меня, я ответила, она радостно воскликнула:

– У вас такой приятный акцент! Прибалтийский?

– Нет. Я никогда не была в Прибалтике.

– Странно... А я, было, подумала, что вы – эстонка. У эстонцев такая же певучая речь, как у вас, мне очень нравится. Когда я была в Эстонии, я, знаете, просто наслаждалась, когда слышала эстонскую речь...

Первый раз в жизни сделали комплемент моей речи.

* * *

... Два месяца я занималась аутотренингом в «Институте слуха и речи». Собственно говоря, я и в Москву-то приехала именно за этим: избавиться от страха речи, который преследовал меня уже много лет. Там, где я жила последние восемь лет – в маленьком степном городке неподалёку от Днепропетровска – не было психолога, и вообще никаких специалистов в этой мало изученной области человеческих страхов. Чаще люди страдают недержанием речи и мучаются оттого, что не знают, как закрыть рот хотя бы на минуту. Я же порой, при всём желании, не могла сказать ни слова.

Но вот, в Москве нашлись специалисты по моей, редкой, проблеме. Отчима перевели на работу в министерство. В конце лета нашей семье обещали дать квартиру. А пока Фёдор жил в гостинице, а я – у маминой приятельницы в Безбожном переулке.

* * *

Жизнь в Безбожном переулке. Под грохот трамвайных колёс и звон посуды в буфете...

Под домом проходит линия метро. А под окнами квартиры, по узкому переулку, как по ущелью, с раннего утра до поздней ночи проносятся, со звоном и скрежетом, красные трамваи... Они напоминают мне раннее детство, зелёный, уютный город Днепропетровск, Пушкинский бульвар, на котором мы гуляли летними вечерами с мамой или бабушкой, и улицу Шмидта, на которой был цирк... По Пушкинскому бульвару и по улице Шмидта со звоном проносились красные трамваи... Детство, цирк и трамваи – это спаялось в памяти в единый образ...

... Смешная старушка Варвара Ильинична из Безбожного переулка. Молодящаяся, задорно-курносая, с острыми серыми глазками и короткой, модной стрижкой. Носит соломенную шляпку, лихо сдвинутую набекрень. Мы с ней познакомились прошлой осенью в Сочи, наши лежаки на пляже были рядом. И пока мы с Маришкой собирали красивые камушки, мама с Варварой Ильиничной могли часами болтать о чём-то...

... Сидим за круглым столом, под зелёным матерчатым абажуром с бахромой, пьём чай. За окном звенят неугомонные трамваи... Ни с того, ни с сего Варвара Ильинична вдруг спрашивает:

– А у тебя мама родная?

– Конечно, родная. А почему вы об этом спрашиваете?

– Слишком по-разному она к вам относится: к тебе и к Марине. Мне подумалось, что она тебе не родная. В любом случае, тебе пора отделяться от родительской семьи и заводить свою. А они пусть живут своей семьёй. Мама, может, ещё сына родит для Фёдора, у неё ещё есть время... А ты в любом случае – отрезанный ломоть.

Меня больно царапнули её слова. Было неприятно, что наши с мамой сложности видны со стороны. Мне нечего было возразить этой старой прозорливой женщине.

А вот про меня она не поняла ничего.

– Вообще-то, я не собираюсь заводить семью, – говорю я.

– Но молодого человека-то надо иметь!

– Зачем?

– А как же без этого? Тебе ведь пора становиться женщиной.

– Зачем?

– Ты же не собираешься оставаться до старости синим чулком!

– Синим чулком?

– Ну, да. Ты такая... старомодная, несовременная. К тому же, сразу видно, что провинциалка: акцент у тебя.

– Ну и что?

– Такие девушки сейчас не в моде. В моде свободные, раскованные девушки, уверенные в себе, с ними приятно общаться, такие пользуются успехом. А ты зажатая, скукоженная вся, взгляд – напряжённый, отталкивающий.

– Ну и что?

– Как «ну и что»?! Я ведь тебе добра желаю. Готовлю тебя к жизни в столице. Ты мне симпатична, и мне тебя жалко. Ты, вообще, зачем в Москву приехала?

– От проблем с речью избавиться, вы же знаете, Варвара Ильинична.

– А сверхзадача?

– В Литературный институт хочу поступить. Когда-нибудь... В этом году не получилось: не прошла творческий конкурс. Надеюсь, в следующем году пройду.

– И это всё?! – ужаснулась Варвара Ильинична.

– Пока всё.

– Да... с тобой надо работать и работать, – со вздохом сказала она. – Я вижу, мама твоя тебя ко взрослой жизни совершенно не подготовила.

Ей страстно хотелось поделиться со мной своей жизненной мудростью, и её очень огорчала моя невосприимчивость к её науке.

– Пожалуйста, не утруждайте себя, – сказала я. – Я не хочу замуж. Я не хочу становиться женщиной. Мне всё это совершенно не интересно.

Она смотрела на меня с искренним сочувствием, как на тяжело больную.

– Девушка не может этого не хотеть! – сказала она убеждённо. – Девушка рождается на свет для того, чтобы этого хотеть!

– Откуда вы знаете?

– Я прожила жизнь и знаю. К тому же, я сама была девушкой и хорошо помню свои тогдашние мечты.

– Значит, я – другая девушка. Не типичная. Исключение из правил. Из всякого правила бывают исключения.

– Ты умная, и это, конечно, хорошо. Но женщина должна быть глуповата. Сила женщины – не в уме...

И так, из вечера в вечер, она протачивала мне мозги. Точнее – пыталась это сделать. Она никак не могла поверить, что ей не справиться с семнадцатилетней девчонкой. Восемнадцать лет мне исполнится только через месяц, и она спешила меня подготовить к совершеннолетию. Она думала: я буду, как младенец молоко, засасывать её драгоценные слова. Скорей бы уж Фёдору дали квартиру! Из вежливости мне приходилось слушать её монологи. Потому что диалоги с ней были бессмысленны. У неё было какое-то наоборотное мышление, она смотрела на меня, как на слабоумную. Но она дала мне приют на два месяца, и из вежливости я вынуждена была всё это слушать. Кстати, своих детей у неё не было, и она решила всю свою жизненную мудрость завещать мне.

* * *

И вновь, за вечерним чаем:

– Ты зачем в Москву-то приехала?

(Бедная старушка, подумала я, видимо, у неё склероз).

– Вы же знаете: лечиться.

– Я тебя спрашиваю о сверхзадаче.

(Ну, точно склероз!).

– Я же вам говорила, Варвара Ильинична: в Литературный институт мечтаю поступить.
– Э!.. опять ты за своё: лечиться, учиться... Ты мыслишь, как школьница-провинциалка, не видишь перспективу, а девушка, которой вот-вот восемнадцать лет стукнет, должна думать о другом.

– О чём же?

– О замужестве, конечно!

(О!.. опять она за своё!)

– Я не собираюсь замуж, Варвара Ильинична.

– Как это? почему? Даже я в свои шестьдесят не исключаю этого. Так что нет ничего стыдного в том, что каждая девушка мечтает о замужестве, – терпеливо компостировала она мне мозги. – Тебе нужно ходить в Дом офицеров на танцы, там такие женихи!.. лучшие в Москве. За один вечер можно найти мужа. Когда-то и я своего Пал Палыча там нашла... Тридцать семь лет прожила как у Христа за пазухой. Царствие ему небесное... Так что ты подумай, девочка, серьёзно о своём будущем. Нельзя же так инфантильно относиться к жизни...

* * *

Ну, не могла, не могла я ни о чём ей рассказать! И не хотела.

Конечно же, у меня была сверхзадача. (А у кого её нет в почти восемнадцать лет?) Хотя я терпеть не могу это слово: «сверхзадача». Слишком оно рациональное и скучное. Можно, конечно, сказать: «план жизни», но это тоже звучит скучно и слишком по-школьному. Лучше всё же было бы сказать – «цель». Тайная жизненная цель! Тайная для окружающих, но ясная для меня. Но всё же когда говорят «цель» – знают, где эта цель находится, и куда направлять усилия. Я же – не знала...

Набрав в грудь побольше воздуха, рискну сказать: «мечта». Хотя слово-то затёртое, захватанное. Но!.. за этим затрёпанным словом для каждого человека скрывается что-то Необыкновенное и Значительное. Можно сказать, что слово – это как картонная упаковка, или как стеклянный флакончик от духов: сам по себе ничем не пахнет, но если отвинтить крышечку... – ТО!.. В моём личном флакончике (читай: «в сердце») жила не какая-нибудь конфетная, девчоночья мечта (не знаю уж, о чём они там мечтают, мои ровесницы, – может, и в самом деле о молоденьком офицере и белоснежной фате?) – в моём же сердце-флакончике живёт самая настоящая СУМАСШЕДШАЯ МЕЧТА! О которой не расскажешь ни школьной подружке, ни старушке из Безбожного переулка...

... Вот уже скоро год, как я... да, я мечтаю... мечтаю, что когда-нибудь... ещё раз... встречу с Моим Клоуном. Я одержима этой мечтой с прошлой осени. Увидеть его хотя бы ещё раз в жизни! И сказать ему какие-то важные слова. Прежде всего, конечно, попросить прощения, за то, что не пришла ТОГДА, когда он позвал меня в гости. А я струсилась – и не пришла. Ах, я ужасная трусиха!... А потом грызу себе локти от досады. Извиниться нужно обязательно. Это же нехорошо, когда человека зовут в гости, он обещает – и не приходит. Правда, я написала ему письмо с извинениями, но не знаю, дошло ли оно до него...

А ещё нужно показать Моему Клоуну стихи. Ему посвящённые. И услышать от него какие-то хорошие слова... например: «Как замечательно, что Вы пришли». Ради этих слов, которые светили мне в будущем, стоило жить в настоящем.

А ещё... ещё я мечтаю о моих будущих книгах. Я мечтаю о них с той минуты, как Мой Клоун сказал мне: «Чтоб были книжки!» Именно так и сказал: КНИЖКИ. Не в единственном числе, а во множественном! И я ответила ему: «Будут!» Это было всё той же прошлой осенью, в сентябре, в Сочи... Мы так хорошо пообщались тогда... на той зелёной улочке, на углу цирка, оклеенного его афишами... На каждой из афиш – ярко и размашисто: «Весь вечер на манеже победитель международного конкурса клоунов в Праге Леонид Енгибаров!»

...Мы так здорово пообщались тогда... А до этого я уже много раз его видела: и в кино, и на манеже (даже цветочки ему подарила!), и на набережной – в пёстрой толпе, и на нашей безлюдной улочке, под проливным дождём... и на длинной каменной лестнице, засыпанной кипарисовыми иглами... Но мы ни разу не общались. Только здоровались последнее время (после моих цветочков). Но пообщаться всё как-то не получалось – то он проходил мимо, не заметив меня, погружённый в свои мысли, то улыбался приветливо и спешил по своим делам...

И вот, наконец, это свершилось! Остановился. Заговорил. САМ!!! ПЕРВЫЙ!!! И новеллу мою прочёл. И похвалил. И свою в ответ прочёл. И мы как-то мгновенно сдружились, такое родство возникло, вспыхнуло – и стало так хорошо, тепло, радостно...

...А на следующий день я (глупая, трусиха!) не пришла в гости. Хотя обещала. Он хотел показать свои рассказы. Я обещала принести свои стихи. (Ну, что теперь напрасно сетовать на свою трусость?!)

А ещё через день мы уехали...

И с тех пор я только об этом и мечтаю: увидеть его ещё раз.

...Скоро год, как у меня за плечами шелестят крылья... Но никто их не видит. Никто не знает о них, кроме меня. А какая сверхзадача (уж если вам так нравится это слово) может быть у существа с крыльями? Ну, конечно же! Небо – полёт – свобода!..

...Когда-то в детстве, в память об одном хорошем человеке, который был лётчиком и погиб, я решила стать тоже лётчиком.

Но летать внутри железной машины – это совсем не то же самое, что летать на крыльях своей сумасшедшей мечты!..

А когда я хотела быть лётчиком, я готовила себя, тренировалась, ведь я в детстве панически боялась высоты и укачивания, я от природы вовсе не годилась для того, чтобы летать – и вот, я победила себя! Теперь я не боюсь ни высоты, ни укачивания.

И хотя я никогда не буду лётчиком (я поняла это в ту минуту, когда выбежала на манеж с цветами для Моего Клоуна – в ту минуту я поняла, почувствовала, что у меня какая-то другая судьба...) Так вот, хотя я никогда не стану лётчиком, – всё, чему я научилась за долгие годы мечты о небе – не пропадёт напрасно. Всё это пригодится мне теперь в полной мере. Ведь чтобы летать на крыльях своей сумасшедшей мечты, нужно не бояться ВЫСОТЫ! Это – во-первых. А во-вторых – нужно не бояться укачивания. (Ведь укачивать наверняка будет очень сильно!)

Так что мечты на ближайшую жизнь у меня были простые и ясные:

1. Увидеть ещё раз Моего Клоуна.
2. Чтоб были книжки! (Я ведь обещала ему).
3. И чтобы он их прочёл...

* * *

– Давай-ка я тебе расскажу, где находится Дом Офицеров, – говорит Варвара Ильинична.

Она берёт клочок бумаги, карандашик и начинает рисовать маршрут: – Так, доезжаешь на трамвае до Самотёчного бульвара... сядешь здесь, прямо у нашего дома. А там – совсем чуть-чуть пройти до площади Коммуны... Дом Офицеров находится в саду ЦДСА. Очень просто.

Я благодарю её и вежливо беру клочок со схемой, чтобы не обижать заботливую старушку.

Но я совершенно другое хотела найти в Москве! Литературный институт, конечно. А ещё – цирк, ипподром и редакцию любимого журнала «Юность»...

Институт я нашла, никого не спрашивая, когда пошла от кудрявого Пушкина по Тверскому бульвару...

...За красивой чугунной оградой, на которой висела волнующая вывеска «Литературный институт им. Горького Союза писателей СССР» – в глубине двора, за высокими старыми тополями, я увидела небольшой двухэтажный особняк... У меня прямо под ложечкой засосало от волнения... Нет, я не зашла во двор, – на это у меня смелости не хватило. Я только минутку постояла у ограды... Там, во дворе, вокруг маленького памятника (не разобрала – кому?) клубились небожители... Парни и девушки, весёлые и раскованные, они все курили и о чём-то болтали, беззаботно смеясь... Эх, никогда мне не быть там, среди них, одной из них, – подумала я. Но спешно отогнала эту пессимистическую мысль...

...А потом я пошла по Бульварному кольцу в другую сторону – и пришла на Трубную площадь. Ах, трамваи на Трубной!.. Красные звонкие трамваи, слетающиеся с горы... Как в Днепропетровске на улице Шмидта... Там они тоже неслись с горы – и прямо к цирку...

И они, трамваи на Трубной, они прозвенели мне о том, что совсем, совсем близко – то, что я ищу...

Цирк на Цветном бульваре! Ноги сами привели меня к нему. (Так будет потом много раз в жизни – в другие времена и в других городах: ноги сами буду приводить меня к цирку).

Только цирк на Цветном был на ремонте. Жёлтенький, как цыплёнок, слегка облупленный... потёртый дождями... Крутые ступени широкого крыльца, пушистые от тополиного пуха... наверное, когда-то по ним взбегал Мой Клоун... И я опять погрузилась в мечтания о том, как мы с ним встретимся... когда-нибудь... И как он обрадуется. «Ну, вот я и пришла...», – скажу я. А он скажет: «Я получил ваше письмо. И ваши стихи мне очень понравились».

Я заглянула через маленькое окошко внутрь – в темноту вестибюля – как на сцену, которая замерла в ожидании огней и действующих лиц... И как будто кто-то внутри меня тихонько шепнул: «Так вот где произойдёт следующее действие!»

Теперь мои мечты знали, где им поселиться.

* * *

...А вот Ипподром искала долго. Полдня ходила вокруг да около – и всё без толку. А спросить никого не могла. Это у меня такое свойство: я никогда не спрашиваю на улице, как куда пройти. Я должна найти сама! Или... не найти.

В этот раз произошло второе. И я долгое время не могла понять: это – ошибка, что так случилось? Или так и должно было быть? И спустя много лет, я буду порой задаваться этим вопросом. Пока не признаюсь себе: что, обретя лошадей, я бы не захотела в жизни больше ничего.

...Я долго тогда бродила в районе метро «Динамо» – но всё, на что я набредала – было не Ипподром! Это были стадионы, они были повсюду – и на одной стороне Ленинградского проспекта, и на другой. А вот Ипподромом не пахло! Как странно... Ведь у меня такое острое обоняние, но – Ипподромом не пахло. Я жутко расстроилась тогда. Но что было делать?.. Не звонить же в справочную «09», не покупать же карту Москвы... Всё это – слишком просто и буднично. Я должна была найти САМА, с помощью интуиции, а не с помощью справочных служб и схем, это неинтересно!

Но... как будто кто-то не пустил меня туда. Запутал, как ночью в степи, в метель...

Так что поход на Ипподром отложился на... двадцать два года!

* * *

Да, а ещё мне надо было найти и прочесть одну книгу – «Золотую розу» Паустовского.

Несколько лет я мечтала прочесть эту книгу. Мне посоветовал один хороший человек. Редактор молодёжной газеты в Днепропетровске, который напечатал мои стихи – целую подборку! Каждый раз, когда я заходила в редакцию, он говорил мне: «Найди и прочти „Золотую розу“! Она написана как будто специально для тебя».

Но там, где я жила прежде, в маленьком степном городке, ни у кого этой книги не было. В библиотеке тоже. У редактора тоже её не было.

Приехав в Москву, в книжных магазинах я её не нашла. У Варвары Ильиничны её тоже не было. А в библиотеке со мной и говорить не стали. Потому что летом у меня ещё не было прописки, а без этого в московскую библиотеку не записывали. Так что «Золотая роза» была для меня пока не досягаема...

И вот, еду как-то в метро, а напротив меня мужчина разворачивает газету, и на первой же странице, крупно: «Умер Константин Паустовский».

Умер... А я так и не успела прочесть его «Золотую розу»...

* * *

«Окна настезь» – толстая общая тетрадь в коричневом переплёте. Мои стихи. Первая рукописная книга.

Летом шестьдесят восьмого года, в Москве, я отважно отправилась с ней в редакцию «Юности», своего любимого журнала.

Редакция в то время находилась в левом одноэтажном флигеле на улице Воровского, 52, бывшей Поварской, (а теперь вновь Поварской).

Был очень жаркий день. Поэт (Знаменитый Поэт! Настоящий Живой Поэт!), которого я обнаружила в отделе поэзии в тяжёлой полудрёме, жалующься на духоту, предложил выйти в скверик, во двор.

...Мы сидели на скамье под окнами редакции, окна были распахнуты. В одном окне, за пишущей машинкой, сидела девушка с длинными русыми волосами. Они стекали по её спине, как река... Девушка была очень красива и величественна. И хотя она, судя по всему, была всего лишь машинисткой, мне она казалась инопланетянкой. Жительницей планеты по названию – Большая Литература! Я ей тихо завидовала... Девушка пилочкой обтачивала свои прекрасные, волшебного длинные (воистину инопланетные!) ноготки и при этом отчаянно, мучительно зевала...

Мне было непонятно: как можно, обитая в Таком Потрясающем Месте, зевать?!

Девушка явно не осознавала своего счастья.

Знаменитый Поэт между тем листал мою тетрадь... Я ужасно волновалась. И, когда он, долистав её до конца, поднял на меня свои утомлённые глаза и заговорил своим утомлённым голосом... я в первую минуту даже не соображала: что он мне говорит такое?.. А он как будто пересказывал мне те рецензии, которые аккуратной стопочкой лежали в моём чемодане, (я их привезла с собой в Москву, как одну из своих драгоценностей), и которые я знала наизусть... Он говорил о том, что у меня есть искорка Божья, что стихи мои искренние, симпатичные (вот дурацкое слово!). Но... к сожалению – я подражаю сразу всем поэтам. (Ну, не может, не может человек подражать сразу всем! Это же и курице понятно! – хотелось крикнуть мне. Но – я сдержалась).

Меня охватило разочарование... Почему все говорят одно и то же?! В этом «единодушии» мне чудился какой-то подвох... Нет, конечно же, я не ждала, и не надеялась, что, прочтя мои стихи, Настоящий Поэт тут же побежит отдавать их в набор. Конечно, нет. Но чего-то я от него всё-таки ждала...

Сейчас, оглядываясь на себя, восемнадцатилетнюю, наивную провинциалку, я понимаю, чего я от него ждала. И понимаю, чем меня так разочаровала первая встреча с Живым Поэтом.

Я ждала ВЗГЛЯДА.

Ждала, что он увидит перед собой МЕНЯ.

И скажет слова, адресованные ИМЕННО МНЕ. ТОЛЬКО МНЕ.

Увы...

Пожалуй, самым удручающим для меня был даже не его монолог, звучащий словно с заезженной, с трещинами, пластинки. (О, я даже и предположить не могла, сколько уже раз она проигрывалась!..)

Меня поразил его взгляд. Вернее: ОТСУТСТВИЕ взгляда. Его глаза были словно подёрнуты тонкой плёнкой. Как у больной птицы... Мне даже страшно было смотреть в них...

Мне всё казалось: сейчас он сбросит с себя истому, встряхнётся – и наконец-то увидит меня! Меня – умирающую от волнения, ждущую приговора – или благословения...

Но он смотрел в ПУСТОТУ. И ощущать себя этим пустым местом, этим НИЧТО было и тяжело, и грустно.

До меня, наконец, дошло: он ждёт, когда я уйду.

И, вяло поблагодарив его за консультацию, и, выслушав на прощанье вялое: «Пишите, конечно... а там видно будет...», взглянув ещё раз на счастливицу в окошке, всё так же упоённо занимающуюся своими волшебными ноготками, я вышла из этого душного скверика. Где на пыльной скамье, в величественной истоме, остался сидеть странный человек с невидящими глазами...

Тогда я подумала: мне просто не повезло. Наверное, Настоящему Поэту нездоровилось в тот день. Или мои стихи не пришлись ему по душе, бывает же такое.

Пройдёт ещё много времени, много лет хождений по редакциям и издательствам, прежде чем я перестану удивляться этому взгляду больной птицы...

И сколько ещё раз в жизни мне суждено натолкнуться на него, Бог весть...

* * *

Киоски под названием «Мосгорсправка». Маленькие волшебные киоски по всей Москве... О, как они меня волновали с самого первого дня!.. Ведь в них содержалось ТО, что я даже не надеялась когда-либо найти... Но о чём, втайне от самой себя, мечтала всю свою жизнь... И только сейчас призналась себе в этом.

«Вы можете узнать адрес любого жителя любого города нашей страны» — самая волшебная услуга, которую оказывала добрая волшебница по имени Мосгорсправка.

Эти призывные объявления не давали мне покоя. Пока я, наконец, не решилась.

Я попросила у тёточки в окошке маленький бланк и, чувствуя сильный жар в голове и дрожь в руках, стала его заполнять... Нужно было указать ФИО, год рождения и место предполагаемого проживания.

Если только я правильно помню год его рождения... точнее, если я правильно его вычислила... когда-то от кого-то слышала, что он немного моложе мамы... немного – это на год, или на два?... допустим, на два... итак, год рождения пишу наугад – 1929. (Значит, когда я родилась, ему был всего двадцать один год?! Кошмар какой-то! Нельзя так рано рожать детей. Ничего хорошего из этого не получится...) Место проживания? Одесса. Если он только по-прежнему живёт в Одессе... вот мы за эти годы четыре раза сменили место жительства... мог и он... так что, шансов вообще-то мало... слишком мало... но если... вдруг... если и год и город я указала правильно... – то... тогда... может быть...

Волшебная услуга стоила считанные копейки.

...А через три дня я держала в руках АДРЕС МОЕГО ОТЦА!

Никогда не забуду эту минуту.

Неужели у меня в руках – реальный, настоящий адрес моего отца? Улица, дом, квартира... Неужели есть на свете место, где он РЕАЛЬНО живёт?.. Ходит по реальным улицам, по разным там молдаванкам и дерибасовским... Фантастика! А я уж привыкла к тому, что он живёт только в моих мечтах...

Написала первый раз в жизни ПИСЬМО ОТЦУ.

Совсем коротенькое. Хотя рассказать хотелось очень о многом. Но я не очень умею писать письма. Тем более, мы почти с ним не знакомы. Я порвала кучу листов, пока не написала совсем коротко: так, мол, и так, живу теперь в Москве, две недели назад мне исполнилось восемнадцать, всё у меня в порядке. Хотелось бы узнать, как поживает он.

Обратный адрес указала Главпочтамт на Кировской. И стала высчитывать, когда может прийти ответ. Наверное, через неделю...

* * *

А тут мама с Маришкой как раз приехали! Потому что нам дали квартиру.

И я попрощалась с говорливой Варварой Ильиничной и с Безбожным переулком, узким, как ущелье, по которому с раннего утра до поздней ночи звенят красные трамваи...

...Маленькая квартирка на севере Москвы, в панельной девятиэтажке. Этаж – третий. Мне, конечно, хотелось бы повыше, чтобы видеть подальше...

Мама сокрушается: «Разве это квартира? Клетушка какая-то!»

Конечно, по сравнению с той, в которой мы жили в степном городке, московская обитель кажется просто игрушечной. Но при этом квартира наша трёхкомнатная. Наверное, если бы Варваре Ильиничне, прожившей всю жизнь в коммуналке, предложили такие хоромы, она была бы на седьмом небе от счастья. Всё – относительно, я это давно заметила.

А мне нравится, что квартирка наша – маленькая (здесь гораздо меньше уборки!).

Мебель оставили там, в степном городке, мама говорила: смешно тащить в Москву мебель. А в Москве, оказалось, невозможно просто так пойти и купить. Спим на полу. Запись на мебель на месяц вперёд, ездим в магазин каждый день отмечаться, по очереди: утром – мама, вечером – я.

И совершенно некогда съездить на почтамт.

Сгораю от волнения: ответит – или нет? А может, уже ответил?.. Меня прямо в жар бросает от этих мыслей. Люди, хочу на Кировскую!!! Хочу на главпочтамт!!! А мама: то это сделай, то это, то с Маришкой погуляй, то в магазин езжай...

* * *

Наконец, выбралась на почтамт.

– Где же вы были, девушка?! – воскликнула выдавальщица писем в окошке «до востребования». И... заплакала: – Он так ждал вас!..

– Кто... меня ждал?

– Ваш отец!

Кипа писем от отца...

Никогда, никогда этого не забуду – этот ворох писем... Одна из самых радостных и самых горьких минут моей жизни.

Откуда ж я знала, Господи, что он приедет?! Отец, ну, почему, почему всё так?! Почему всё так нелепо и грустно получилось? Когда ты теперь приедешь ко мне? Когда я теперь приеду к тебе? Неужели нам не суждено встретиться? Неужели эта наша невстреча – знак, что встретиться нам не суждено? Кто это решил? Кто так нелепо устроил? Почему именно в эти дни нужно было приехать маме с Маришей? И наша суета с поселением в новой квартире прилась именно на те дни, что ты сидел на главпочтамте и ждал меня, три дня, с утра до вечера... И писал мне письма. И отдавал их в окошко «до востребования». А утром приезжал к открытию почтамта и весь день сидел вот за этим столом, и писал мне, и смотрел на окошко «до востребования», и всё ждал, что вот сейчас я к нему подойду – к этому заветному окошку...

А я так и не подошла...

Как грустно, Господи. Как глупо всё получилось...

* * *

...Дождь... только когда дождь, я в этом городе не одна, только когда дождь – этот город перестаёт быть для меня пустыней, прекрасной каменной пустыней... Он наполняется шорохами и шёпотом... Я люблю дождь. Когда я приехала в Москву, почти три месяца назад, тоже шёл дождь, и я сказала себе: «Дождь – это к счастью!»

...Красная телефонная будка с запотевшими окнами, как маленький батискаф, в море дождя... Середина августа, дождь пахнет осенью и одиночеством... Как горько, что мы не встретились с отцом. Я так долго ждала нашей встречи – десять лет! целую вечность!.. И вот, отец, ты был здесь, в Москве, ты приехал специально, чтобы увидеть меня – и мы не встретились. Как будто кто-то посмеялся над нами...

* * *

В Москве у Фёдора – нормированный рабочий день. Раньше он приходил домой к ночи. В том городке, где мы жили раньше. Где он восемь лет строил огромный комбинат.

Теперь Фёдор – министерский работник. И его это бесит. Он тоскует без стройплощадки. И это я во всём виновата. Ведь это из-за меня мы переехали в Москву. Теперь он все вечера торчит дома. Это ужасно! Он говорит: «Наконец, я могу заняться вашим воспитанием». «Займись, займись, давно пора», – говорит мама.

Но воспитывает он исключительно меня. Маришка, которой десять лет, воспитанию пока что не подлежит. А я, выходит, как раз для этого созрела...

* * *

Неожиданные наезды Фёдора: он хочет меня отправить в Днепропетровск.

Странно: вроде из-за меня мы сюда переехали, чтобы я, наконец, избавилась от своих проблем с речью, и вот он меня уже усылает обратно! В Днепропетровск, к бабушке, в строительный институт – причём, немедленно! Там ректор – его бывший однокурсник, никто меня

«резать» на экзаменах не будет, у меня голова на плечах есть, я поступлю, я должна немедленно поступить в институт, потому что —

Мама:

– Нам стыдно перед друзьями и знакомыми: у всех дети учатся, только ты одна не в институте. Как будто ты хуже всех!

– Просто я ещё не решила, куда мне поступать. А в ваш строительный – не хочу.

– Что значит «не хочу»?! При чём тут «хочу-не хочу»?! – гремит Фёдор, на его скулах страшно гуляют желваки, а глаза становятся совершенно бешеные.

В такие минуты я его боюсь. Но, вместо того, чтобы заткнуться, я ору ещё громче:

– Не хочу в ваш строительный институт! НЕ ХОЧУ!!!

– Строитель – самая лучшая профессия на земле! Лучше быть не может!

– Для вас – может быть! Но – не для меня! Это – не моё!

– Чем же ты отличаешься от нас? Чем ты лучше нас? Видите ли: она не хочет! А я не спрашиваю тебя: хочешь ты или не хочешь. Не смогла сама определиться в жизни – поступишь, куда скажем. А болтаться так просто не позволим! Поедешь в Днепропетровск – без разговоров!

– А как же институт слуха-речи? Ведь мы из-за этого сюда переехали...

– Будешь приезжать раз в год на курс. Не на край света уезжаешь!

Так мы кричали друг на друга каждый вечер. До конца августа. Пока в институтах шли приёмные экзамены. Пока ещё можно было успеть взять билет и на следующее утро оказаться в Днепропетровске, на Философской улице, у бабушки... в строительном институте.

Странно, почему я не уехала тогда? Что меня держало в этом городе? Ведь я ещё не успела его полюбить. Он ещё не успел стать МОИМ. У меня здесь не было ни одной родной души. Не считая моей семьи, которая желала от меня избавиться.

И всё же я не уехала. Внутренний голос подсказывал мне, что я должна быть здесь. ЗДЕСЬ. В этом городе, где мне так одиноко. Откуда меня гонит моя семья. Выталкивает меня из себя. Отторгает. Но нет у меня другой крыши над головой. Увы... Не в Безбожный же переулок бежать! Там – не лучше. Там – не легче. Там я – чужая. И здесь – тоже чужая... Но надо терпеть. Претерпевать... Сцепив зубы, молча. Порой срываясь на крик, когда уже нет сил молчать.

– Нам стыдно за тебя! – орёт Фёдор.

– Чем я так уж плоха для вас? Не пью, не курю, не гуляю. Что я такого плохого делаю, что меня надо стыдиться?!

– Дело не в том, что ты делаешь! а в том, чего ты не делаешь! Ты не слушаешь ни отца, ни матери! ты не ставишь ни в грош наше мнение!

– Мне восемнадцать лет, я совершеннолетний человек, и я имею своё собственное мнение насчёт своей собственной жизни!

– Ты – не совершеннолетний человек, несмотря на свои восемнадцать лет! И права на своё мнение ты ещё не заслужила!

– Когда же я его заслужу?

– Когда начнёшь зарабатывать на жизнь, когда узнаешь, что такое труд, когда на твоих руках будут мозоли!

– Я ищу работу...

– Вот когда найдёшь – тогда будешь иметь право открывать рот и высказывать своё мнение! А до тех пор, пока ешь родительский хлеб – должна повиноваться родителям! Причём – безоговорочно! А пока – ты ещё ничего доброго в своей жизни не сделала...

– Считайте, что я уже работаю – у вас домработницей.

– ЧТО?! – завопили они на два голоса.

– Ну, да. Раньше мы с бабушкой, а теперь я одна.

– А стыд у тебя есть?!

– Стыд есть. Но я действительно всё за вас делаю, причём, уже много лет: и постели ваши застилаю, и башмаки ваши мою. И магазины, и стирка, и посуда – всё на мне, разве не так? А ем я совсем мало. Могу и вообще не есть.

– Домработница?! А кто мы тогда, по-твоему?! Кто мы?! – кричат они на два голоса.

Прямо греческий хор... Вы спрашиваете, кто вы? Не очень мудрые люди, вот вы кто. Но как вам об этом сказать? У вас в мозгу ржавые шестерёнки вместо мозгов. Вы – механические люди, вот вы кто! Но зачем вам говорить об этом? Всё равно ведь не поймёте...

Молчи, говорю я себе. Молчи! Больше – ни звука. Терпи, терпи!..

Зачем мне надо было всё это терпеть? Почему? Я не знала.

Ответы придут гораздо позже.

* * *

Найти работу в огромной Москве оказалось не так-то легко. Вообще, работы навалом, самой разной, но выяснилось, что я не совсем понимаю, что искать.

...Целыми днями ходила по городу и читала объявления: кто и куда нужен. Особенно много листовок с призывами «Срочно требуются» было у метро «Сокол». Все стены домов, в районе досягаемости глаза, были оклеены приглашениями на работу, все телефонные будки, киоски, столбы и подворотни – прямо ярмарка предложений! Но, в основном, это были призывы ехать в дальние регионы великой державы – на Дальний восток и на север. Но я знала, чувствовала, что должна быть здесь – в этом бескрайнем городе, где у меня ни одной родной души, где меня ничего не держит, кроме убеждения: я должна быть здесь, как бы мне не было трудно... Как будто кто-то сидел у меня внутри – такой маленький мудрый гномик – который нашептывал: «Не вздумай уезжать! Всё ещё только начинается... Не вздумай уезжать!»

А в Москве, чаще всего, требовались уборщицы в метро, машинистки в машбюро, а также машинисты подъёмных кранов, каменщики и маляры на стройки, укладчики асфальта, повара всех категорий и таксисты разного класса, токари и фрезеровщики на различные фабрики и заводы, санитарки и медсёстры в больницы и поликлиники. Ещё было много загадочных вакансий, типа: намотчицы, укладчицы, сортировщицы и контролёры ОТК. Укладывать, наматывать, сортировать и контролировать предлагалось самые разные вещи: провода и нитки, гайки и шурупы, макароны и конфеты... Особая квалификация не требовалась. Предлагали за месяц бесплатно научить. Заманчиво, конечно... Но я как представила себе... что я изо дня в день укладываю и укладываю, наматываю и наматываю, сортирую и сортирую... Мне прямо дурно сделалось.

А также столице нашей Родины срочно и в неограниченном количестве требовались посудомойки и мойщицы котлов! Каждое второе объявление кричало, вопило, стонало об этом. Обещали разные льготы и блага: немедленно принять всех имеющихся детей в ясли и детсады, предоставить путёвки в санатории и профилактории... Только приходите хоть кто-нибудь и перемойте, наконец, это всё! Было такое впечатление, что Москва до самых крыш завалена невымытой посудой и нечищеными котлами... Ужас какой-то! Как ни смешно, но мытьё посуды – это то, что я реально умею делать. Моя добрая бабушка с раннего детства обучила меня женской благородной работе, но работёнка эта крайне неудобна по одной причине: например, в голову приходит мысль, а то и стихотворение, и нужно срочно записать, а руки мокрые,

сальные... Тьфу! И карандашика с клочочком сухой бумаги не сыскать среди этих котлов... К тому же, я не могла воспользоваться ни одной льготой, ни одним благом: ни яслями-детсадами, ни санаториями-профилакториями. Мне всё это было совершенно не нужно.

А я хотела работать где-нибудь в редакции, или в издательстве. Это была моя голубая мечта. Смешная, я думала, что меня сразу возьмут корреспонденткой! Ведь я уже четыре года печатаюсь. У меня уже девять публикаций в самых разных жанрах. И целая толстая тетрадь замечательных сочинений, пусть и не оцененных известным поэтом из журнала «Юность». Ясно, что он ошибся, не вчитался, не понял. Но в другом-то месте обязательно поймут! И оценят.

* * *

Я искала работу уже месяц. Наверное, мои поиски были смешными и глупыми.

Например, звоню в редакцию «Известий», в отдел кадров, говорю:

– Здравствуйте. Я ищу работу.

– Ваша профессия?

– Я пишу.

– Что пишете?

– Стихи и прозу. У меня много публикаций...

– Это понятно. А что вы умеете делать? – нетерпеливо спрашивает кадровичка, с упором на «делать».

– Ну вот, пишу...

– И это всё?

– Да.

– Спасибо, пишущих людей у нас достаточно. До свидания.

* * *

Крошечная ведомственная типография на Пушкинской улице. Здесь печатают просветительские листовки. Хит этого сезона: «Мухи – разносчики заразы».

– Вот, ухожу на пенсию, должна кому-то передать в наследство свой станок и свои знания, – говорит устало толстая, вялая женщина, в линиях синем халате – единственная работница этой типографии. – Начальство сказал: пока не найду ученицу и не обучу её, меня на пенсию не отпустят. Так что, пожалуйста, соглашайтесь! Работа не трудная. Кладёте листы бумаги, нажимаете вот на этот рычаг... никакой особой мудрости не надо.

– Да... спасибо... всё ясно...

Поблагодарив пыльную женщину за науку, бегу без оглядки!..

Только на минуту представила, что я всю жизнь сижу за этим станком и всю жизнь, до самой пенсии, печатаю этот гениальный текст: «МУХИ – РАЗНОСЧИКИ ЗАРАЗЫ»...

Пожалуй, лучше сразу умереть.

* * *

Звоню в «Учительскую газету». В то время это была очень прогрессивная газета. В ней так здорово иногда ругали школу! Хорошо, если бы меня взяли сюда на работу. Слышу в трубке неожиданно приветливый мужской голос:

– Как замечательно, что вы позвонили! – говорит он. – Мы только что о вас говорили.

– Обо мне???

– Да. Именно о вас. Нам очень нужна девочка, которая умеет печатать на пишущей машинке.

- Но... к сожалению, я не умею.
- Ну, может, хотя бы одним пальчиком? – весело говорит он.
- Даже одним не умею, – уныло говорю я.
- Да мы вас научим! – радостно говорит он. – Это – не трудно.
- Боюсь, у меня не получится...
- Жаль, – сказал он.

Я положила трубку.

Дурочка я, конечно. Короче – трусиха. Ну, чего я так испугалась? Если на аккордеоне играю, то и на пишущей машинке бы научилась. Но испугалась панически! Страшное видение посетило меня в ту секунду: чужие, незнакомые люди учат меня стучать на машинке, а у меня НЕ СРАЗУ получается... СТЫД-ТО КАКОЙ!!! Ещё не попробовав, я уже сгорала от стыда... даже испариной вся покрылась – при мысли о своём возможном позоре... Я так испугалась и расстроилась, что даже не спросила, нужен ли им человек, умеющий писать стихи и рассказы.

Вот такая у меня дурацкая черта характера: я могу показывать людям только то, что я умею. Чему уже научилась. В чём уверена. Люблю обучаться втайне. И выходить на люди уже с умением. Кстати, так было и в музыкальной школе: на уроке, на глазах учителя разучить новую вещь я никогда не могла – просто ступор какой-то находил... Но, зато, дома – когда меня никто не видел и не слышал – всё шло, как по маслу...

Досадное, крайне неудобное в жизни свойство. И как мне с ним быть? Как дальше жить?.. Я долго стояла в проходной редакции, в жутком смутении и расстройстве. Больше всего на свете мне хотелось немедленно перезвонить и сказать доброму, приветливому дядечке: «Я согласна учиться стучать на машинке!» Но это – было выше моих сил... Господи, какая же я тряпка! Ненавижу себя за это!

...Плелась устало по улице Горького к Маяковке (метро на Пушкинской площади тогда ещё не было), ноги едва шли, так я выложилась на этих звонках и на этих неудачах. Хотелось плакать от бессилия, хотелось поскорее умереть, чтоб дальше не мучиться...

И тут горько-утешительная мысль озарила мою душу: «Я – гений в одиночестве. Когда на меня никто не смотрит. Значит, мне нужно найти такое дело в жизни, которое можно делать в полном одиночестве...»

* * *

...Телефонная будка, дождь... окошки запотели... маленький батискаф, и я в нём, затерявшаяся в плотных, шуршащих струях... – как в глубинах океана... мне уютно в этом маленьком сухом пространстве, я могла бы здесь жить, мне много не надо, только бы не мешали думать свои мысли, только бы не орала, не стучали копытами, не требовали бы от меня того, что я не хочу делать... не хочу и не могу... ах, было бы у меня такое маленькое, крошечное, но моё, совсем моё, только моё жизненное пространство – не надо было бы уничтожать письма... письма отца... их некуда было спрятать в нашей квартире – от тех, кто их не должен был читать. Как это грустно, отец, что мы с тобой не встретились, ты был так близко, ты был в этом городе, ты прилетел, чтобы увидеть меня – и мы не встретились... десять лет мы мечтали об этой встрече, но всё вышло так нелепо, так горько, так глупо... как бывает только в жизни... и всё же меня греет то, что, получив моё письмо, ты тут же взял три дня за свой счёт и вылетел в Москву, не раздумывая...

Не могу, не могу забыть эти слова, они засели во мне, как вечные занозы, от которых нестерпимо больно: «Где же вы были, девушка?! Он так ждал вас!..»

В моих письмах к тебе – только хорошее: вот, отчима перевели на работу в министерство, он крупный специалист, фанат своего дела, мама – тоже, построили город в степи, прожили там

восемь лет. Ты спрашиваешь, как Фёдор относится ко мне? Ну, как... Нормально относится. Но главное – есть любимая сестрёнка, ей недавно исполнилось десять, но она ещё малышка, пушинка, я её люблю таскать на руках... Как, у меня есть ещё две сестры? Надо же... две сестры-одесситки. Да, хотелось бы когда-нибудь познакомиться... нет, приехать пока не получится... сейчас у меня срочное дело – ищу работу. Нет, в институт не поступала, ни в прошлом году, ни в этом, у меня проблемы с речью, ну ты помнишь... да, ещё с тех пор, да, так и не прошло почему-то... Из-за этого, собственно, мы и оказались в Москве, отчим вообще-то не хотел сюда ехать, он любит Украину, у него там старики-родители, но в Москве хорошие врачи, разные новые методики, аутотренинг, слышал об этом? Это когда сам себе зубы заговариваешь: я спокоен, я совершенно спокоен, ну и так далее... да, вроде, помогает... Но только ненадолго. Я уже в Харькове этим лечилась. Сначала стало хорошо, а потом опять плохо, хуже некуда. А тут, в Москве, два месяца каждый день ходила в институт слуха-речи, почти перестала бояться говорить. Почти... Мама говорит, что орать на Фёдора у меня хорошо получается. Но после вечерних разборок с Фёдором опять происходит затык. После того, как поору, всегда потом долго молчу.

...Старушка из Безбожного переулка не верила мне, что я совершенно не собираюсь замуж – ни в ближайшее время, ни вообще! Она говорит: «Ты сама от себя скрываешь, что только этого и хочешь!» Чушь собачья! никогда этого не хотела и не хочу. А ребёночка себе возьму из детдома, когда срок настанет, когда я смогу его сама прокормить, так что надо искать работу, не из-за ребёночка, конечно, куда я его сейчас возьму? Фёдор нас тогда обоих съест, с хрустом, и не поперхнётся, он считает меня жутко неправильной, он считает, что я всё не так в жизни делаю, не то и не так. А я мечтаю в Литературный институт поступить. Да, пишу стихи. Уже давно, с шестого класса. А до этого писала прозу. Когда мне было одиннадцать лет, написала повесть. О нас с тобой. Хотя я тебя почти не знаю, даже голос твой уже забыла, помню только, как мы прощались на снежной тропинке... Но повесть получилась замечательная. Большая. Целая тетрадка в двенадцать листов! Я любила её перечитывать... Нет, она, к сожалению, не сохранилась... ну, так сложилась жизнь... (когда-нибудь, может быть, расскажу, почему она так сложилась). Но я её хорошо помню, свою повесть, очень хорошо... и как писала её по ночам, при свете фонарика, накрывшись с головой одеялом... А в этом году из Литинститута мне пришла бумага: «Не прошла творческий конкурс». Почему не прошла? Что в моих стихах не так?.. Там не написано. Странно... На Украине меня печатали, и стихи и рассказы, многие хвалили, некоторые даже переписывали себе на память, и по телевизору я выступала, читала свои стихи, ты, кстати, не видел той передачи? я ради тебя выступала – чтобы ты меня увидел... нет, не видел? жаль... значит, зря старалась... Кстати, клоуну Енгибарову один мой рассказ очень понравился. Откуда мне это известно? А он мне сам об этом сказал. Мы, папа, с ним знакомы, хочешь – верь, хочешь – не верь, но я никогда не вру. Так что ты мне верь, пожалуйста... прошлой осенью, в сентябре, 13-го числа, я выбежала на манеж с цветочками для него... да, именно 13-го, я люблю это число, и подгадываю главные события, а бывает, что они и сами происходят в этот день, как моё рождение, например... Да, а потом он меня на улице узнал, и заговорил, а у меня в руках как раз был мой рассказ, ну так совпало... и ему очень понравился. О чём рассказ? О любви... Я думала: он засмеётся, когда прочтёт, а он серьёзно так прочёл, поцеловал меня в щёку и сказал: «Спасибо». И в ответ прочёл свою новеллу... очень грустную... про карманного вора, который мечтает украсть чьё-нибудь сердце... вот так, папа. Кстати, про 13 число. Я и в Москву хотела приехать 13-го. Но мама воспротивилась этому и взяла мне билет на 11, чтобы я приехала 12. Так вот я и приехала в Москву 12 июня 1968 года. И я здесь уже третий месяц... и всё время – дожди... и в день приезда тоже шёл дождь... и я подумала: это к счастью... есть такая примета: если тебя встречает дождь – всё будет хорошо... такое вот благословение небес...

Хочешь, пап, я тебе почитаю стихи? Я их уже здесь, в Москве, написала.

Тощий июльский дождь —
белая музыка дня...
Худ он и слаб,
и всё ж
держит в стихах меня.

И до чего ж он простак!
Гол —
но разве бедняк?
Сыплет за просто так
белую музыку дня...

* * *

Поселение на петушиной окраине. Район называется Химки-Ховрино.

В нашем дворе – маленькая деревушка. Точнее – остаток деревушки. Корова шоколадного цвета пасётся на лужку среди клевера и ромашек... Три белые козы бродят вокруг колышков. Дымят печные трубы по утрам... кричат петухи... Не зря Москву когда-то называли большой деревней. Она до сих пор местами – деревня. А с нашей лоджии видна Останкинская телебашня. Такая стройная сверкающая красавица с пышной облачной копной на макушке...

Из одного окна – корова, из другого – телебашня. Корова – и телебашня – вот они, картинки московской жизни шестьдесят восьмого года.

...А субботними вечерами слышен колокольный звон: неподалёку, минут десять пешком от нашего дома, – ещё одна деревенька: Аксиньино. С маленьким круглым прудом, заросшим камышом и старыми ивами, а рядышком – церковь с голубыми куполами...

Внутрь я не заходила – почему-то боязно: вот, думаю, зайду – а меня о чём-нибудь спросят, и что я скажу?... Но когда в раскрытое окно залетает с мягким ветерком тихий и ласковый колокольный звон – на сердце становится как-то особенно... Как-то особенно хорошо.

* * *

Дождь... телефонная будка, моё убежище, приткнулась к углу большого детского магазина «Смена», и я смотрю сквозь мокрые и туманные окна моего батискафа на большие, залитые дождём витрины, в которых одёжки и игрушки, куклы и паровозики, ползунки в смешных рисунках на маленьких смешных манекенах, и отчего-то щиплет глаза, и никто не видит меня, и можно не стыдиться своей старомодной сентиментальности... Зайду ли я когда-нибудь в этот магазин не просто так, а с великой целью – купить для Своего Малыша вот эти разноцветные кубики для его великого строительства? или вот эти маленькие башмачки, чтобы он топал в них по солнечной дорожке... Никогда не хотела замуж и не хочу (замуж – это что-то страшное!), но уже много лет мечтаю о своём малыше... и вот смотрю в витрину детского магазина под августовским дождём, летом шестьдесят восьмого года, и знаю, что никогда этого не забуду: как лил дождь, и как я спряталась в красную телефонную будку, и как смотрела сквозь дождь и сквозь два стекла – на символы иной жизни, полной смысла и тепла... и как мне хотелось плакать от нежности... а ещё больше – от пустоты моей собственной жизни... вот телефонный автомат, вот монетка в моём кармане, «двушка» – но некому позвонить, нет ни одной родной души в этом огромном городе, или хотя бы просто знакомой... не считая старушки из Безбожного переулочка... но ей звонить совершенно не хочется...

Да, в первые московские дни было ощущение, что попала внутрь калейдоскопа, внутрь сказки, внутрь праздника... Но очень быстро чувство щенячьей радости сменилось чувством

пронзительного одиночества. Разноцветные стёклышки померкли... Ни за одним светящимся стёклышком-окошком меня никто не знал, не ждал...

Многоликая пустыня. Порой, оцепенев на мгновение посреди уличной толчеи, хотелось крикнуть отчаянно: «Ау, люди!..»

Ни одной родной души. Ни одного знакомого лица.

* * *

...Красные трамваи в Безбожном переулке... на Трубной площади... красные трамваи на Соколе... звенят и звенят... связывая меня с моим детством в далёком южном городе...

Если прищурить глаза и смотреть на пробегающие мимо трамваи – за туманным стеклом... звонкие мокрые трамваи... кажется – красные сверкающие иглы сшивают прошлое с настоящим, неумоимо сшивают в единое полотно жизни... трамваи стучат, как бабушкина швейная машинка: «Всё – во всём... всё – едино...»

Всё переплелось, связалось, не различить – где начала нитей, а где концы...

Бумажные горы и белые хризантемы

...Будильник я заводила на пять утра... Но просыпалась на несколько минут раньше – и быстренько нажимала на кнопку звонка, только бы он не успел прозвонить и разбудить Маришку, которая спала рядом со мной, свернувшись калачиком, очень трогательно, как котёнок... Несколько минут я лежала, не раскрывая глаз, а под веками – пёстрыми бабочками пролетали последние кадры сновидений... Потом, не зажигая огня, бесшумно пробиралась на кухню и ставила на огонь чайник... Чашка крепкого чёрного кофе – и я выходила на улицу – в сырость и мрак...

...Октябрь, сырость и мрак, запахи листьев и мокрой земли... на небе – крупные, яркие звёзды... Фонарей в нашем микрорайоне ещё нет, и только звёзды освещают мне путь... До метро «Речной вокзал» – полчаса пешком через пустыри и крошечные деревушки, которые пока ещё не успели снести... Заборы, чёрные покосившиеся избы, доживающие последние месяцы, или дни... низенькие сараи и поленницы, слышны хриплые голоса петухов, орущих спросонья в тёмных сараях, как будто их разбудил шорох листьев под моими шагами...

Химки-Ховрино,
пять утра,
петухи орут, как дурные...

Спите, глупые, вам же не надо на работу, как мне, можете дрыхнуть... вот, я уже прошла мимо – и больше ни души вокруг, уж больно темно и рано... Можно идти и разговаривать с собой... Или с тобой, отец... Да нет, вовсе мне не страшно, только собака какая облает, но собаки все за заборами, в тёплых конурах, и только я одна топаю в этой сырой тьме... А листьями пахнет так остро, как в глухом лесу, хорошо, что мы живём на окраине, можно сказать – в деревне, вот уже откуда-то потянуло печным дымком... наша улица называется Лавочкина, это оттого, наверное, что повсюду у покосившихся заборов старые лавочки, когда-то в стародавние времена здесь, наверное, любили сживать местные красавицы в пышных сарафанах... А самой улицы ещё нет, только микрорайон одинаковых панельных девятиэтажек среди деревенского круговорота, петушиного крика, тут и коровы ещё пасутся на лужках, а бабушка из Днепропетровска пишет: как вы там живёте в этой Москве, это же сумасшедший город – камень да асфальт, да магазинные толпы... Ну, это толпы в центре, в ГУМе и ЦУМе, а на нашей окраине в пять утра я совершенно одна, даже намёка на толпу нет, и никакого асфальта под ногами, а только глинистая тропинка, заваленная яблонево́й и тополиной листво́й, на нашей окраине много яблонь и тополей...

Подхожу к метро.

Станция ещё закрыта, но небольшая отсыревшая кучка полусонных людей, всегда одни и те же, уже ждут у входа. Наконец, дежурная тётка в униформе открывает стеклянные тяжёлые двери. Первый поезд уже стоит у платформы... в вагоне холодно... я сажусь обычно на угловое сидение, здесь уютнее и теплее. Теперь можно подремать под мерный цокот колёс... главное – не уснуть крепко, чтобы не проспаться свою остановку. Водный стадион... «Осторожно, двери закрываются!» Войковская... «Осторожно, двери...» Да никого нет ещё, чтобы заземляться дверьми! Но магнитофонная плёнка волнуется о несуществующих пассажирах... «Осторожно, двери закрываются!» Сокол... Аэропорт... Динамо! – это моя.

...За двенадцать минут тёплого укачивания через моё сознание успевают пролететь целая толпа разноцветных снов...

Динамо. И вновь выхожу в мокрую безлюдную темень... иногда толпа листьев несётся под ноги... иногда реки дождя... а на мокрой, чёрной, сверкающей площади, похожей на огромное зеркало, или на ночное озеро, стоит и ждёт первый троллейбус с запотевшими стёклами, настывший за ночь, с ледяными клеёнчатыми сидениями... За два месяца я изучила всех пассажира, каждый садится всегда на одно и то же место, а я всегда сижу на переднем, повёрнутом к салону – так мне видно всех, и я как будто каждое утро смотрю одну и ту же пьесу, где усталые актёры механически играют затрёпанные до дыр роли... Кивок головой в знак приветствия, усталое: «Доброе утро!» – «Какое там доброе! ишь, как хлещет! такой дождливой осени даже не припомню...» – «Да и лето было не лучше...» – «Вы правы...» И только одна тёточка, в вязаном сером беретике и сером пальтишке, и лицо у неё серое, а глаза давно утратили окраску, она всегда вскакивает в троллейбус последней – и он тут же отъезжает, отплывает от чёрной, блестящей площади, в рассыпанных осколках фонарей... И тёточка в беретике говорит оживлённо своей соседке по сидению: «Представляете? мне осталось до пенсии ровно год, два месяца и десять дней! Даже не верится! И всё это кончится... представляете, тридцать лет одним и тем же маршрутом... изо дня в день...» И её соседка радуется за неё, и завидует ей, и все в троллейбусе ей завидуют, потому что им осталось больше... и такие серые, измученные лица, такие старческие, высушенные недосыпаниями и скукой жизни... и все в этом раннем троллейбусе – замученные и усталые, рабочий и фабричный люд, едущий к первой смене... Боже мой, думаю я, неужели и мне предстоит вот также... неужели и я когда-нибудь буду подсчитывать дни до пенсии?.. Нет! нет! ни за что! я не хочу доживать до пенсии, это ужасно... Я отворачиваюсь от унылого театрала, от этой скучной пьесы, мне их всех жаль, наверное, когда-то они были молодыми и о чём-то мечтали... но вряд ли об этом... чтобы подсчитывать дни до пенсии... Но, с другой стороны, кто-то же должен ехать в этом первом троллейбусе – чтобы что-то там крутилось в этих фабричных и заводских цехах... вот и я еду... но должна я или не должна туда ехать, я так пока и не разобралась до конца... Неужели есть люди, которые рождаются для того, чтобы играть роль винтиков? Неужели существует на свете призвание быть винтиком? Или это не призвание, а наказание? А если наказание, то – за что???

...И вот еду, плыву по мокрой холодной Москве к проходной... Почему я решила пойти сюда? Во-первых, огромное издательство – «Молодая гвардия»! И я подумала: главное попасть внутрь процесса. А уж потом я разберусь, я найду себе достойное место, интересное... Может, и книжку издам?..

А пока меня взяли в цех подготовки бумаги – «счётчиком». Как всякий пишущий человек, бумагу я любила, просто обожала. И я подумала, что счётчиком бумаги – это лучше (поэтичнее!), чем счётчиком макарон, гаек или конфет.

...Я входила в цех, когда первые лучи солнца, как прожектора, освещали бескрайнее пространство, заваленное огромными рулонами и гигантскими кипами... Это был цех нарезки бумаги: здесь рулоны превращали в кипы. Грохочущие станки нашинковывали рулоны на огромные листы. А я должна была пересчитывать: сколько листов в каждой кипе... Зачем? Непонятно. Ведь существовал деревянный метр, вроде костыля, его прикладывали к кипе, потом делили на толщину листа – и готово! получали количество листов. Кому и зачем был нужен человек-счётчик, дублирующий роль деревянного метра – совершенно непонятно. Но роль у меня была именно такая. Не видя смысла в своей работе, я пыталась найти в ней красоту. Итак, бумагу я обожала! я представляла, что это – снежные горы, бумажные эвересты, залитые солнцем... это было фантастически красиво! Столько белой бумаги, ждущей СЛОВ, я ещё никогда не видела...

...Считаю бумагу... Бумага вся разная. Отечественная и заграничная. Есть плотная и шероховатая, есть тонкая и изумительно-гладкая. Есть пронзительно белая, до рези в глазах – а есть сероватая, как будто присыпанная пылью... Больше всего мне нравится финская бумага. Шикарная!.. Проведёшь рукой по листу – и сердце замрёт от нежности и восторга: прямо шёлковая, атласная!

Чем бумага тоньше, тем она больше режется. Мои руки в многочисленных порезах... Это очень больно. И выглядит жутковато: как будто меня пытали каким-то изощрённым способом.

* * *

Но зато, но зато!.. в издательстве оказалась шикарная библиотека, а в ней – полное собрание сочинений Паустовского!

И я тут же взяла «Золотую розу» – и впилась в неё, как страдающий анемией, впивается в хрустящее зелёное яблоко... О, как меня поразила история парижского мусорщика, который в течение многих лет собирал золотые крупинки, точнее – золотую пыль, чтобы потом отлить из неё ЗОЛОТУЮ РОЗУ! И подарить её любимой женщине. Но не для того, чтобы получить что-то взамен, нет. Он хотел, чтобы эта роза принесла ей счастье. Но он умер. И подарить розу не успел...

Но Паустовский подарил эту розу – всем нам. Эта книга – о самом главном – о творчестве. О том, что в каждом дне есть эти золотые песчинки, пылинки, рассеянные в серых буднях...

В книге много историй и сюжетов – как в розе лепестков. И все они о том, как рождаются книги. О том, как в каждом жизненном сюжете увидеть СМЫСЛ. О том, что и боль, и страдание, и безответная любовь, – преображённые творческой силой, – превращаются в СВЕТ и КРАСОТУ.

И каждому из нас нужно собирать крупинки для СВОЕЙ золотой розы...

* * *

Письма от отца: зовёт меня в гости, зовёт меня жить к себе... Хотелось бы увидеться. Хотелось бы увидеть Одессу, море, бабушку и дедушку, сестёр...

* * *

– Мама, я хочу съездить в гости к отцу.

– К какому отцу?

– К папе Серёже. Я его нашла.

– Где?

– В Одессе. Он зовёт меня в гости.

– Зачем тебе это? Вы же, по сути, не знакомы.

– Вот я и хочу познакомиться.

– Я не могу тебе дать ответ так сразу.

На следующий день:

– Фёдор сказал: если ты поедешь к отцу, он уйдёт из семьи.

– Какая же тут связь, мама?

– Ну, как ты не понимаешь? Ты оскорбила его!

– Чем? Тем, что хочу увидеть своего отца?

– Да! Фёдор тебя воспитывал столько лет!

– Воспитывал?.. – я чуть не расхохоталась.

– Да, воспитывал! Как умел, так и воспитывал! А думаешь, с тобой легко? Ты ведь у нас – не подарок!

– Ах, не подарок?..

– Да, не подарок! С тобой с ума можно сойти иногда!
– Ну, так и отпустите меня к отцу! И не будете больше сходить со мной с ума! И живите своей жизнью! Своей! А я не буду вам мешать!
– Я же тебе сказала: Фёдор уйдёт, если ты уедешь туда. Он этого не потерпит.
Мама начинает рыдать... Сквозь слёзы:
– Ты росла без отца... Думаешь, мне было легко?.. И ты что, хочешь, чтобы и Маринка росла без отца? Ты хочешь оставить свою сестру без отца?!
– Нет, мама. Не хочу.

К отцу я не поехала.

Я в то время верила, что Фёдор может выполнить свою угрозу. Но теперь, по прошествии многих лет, понимаю, что это был чистый шантаж. И мне бесконечно жаль, что я поддалась на него.

Таким образом, из моей жизни было вычеркнуто ещё много лет, которые я могла бы наполнить общением с отцом. Но – увы! – этого не случилось...

Более того: я уничтожила письма отца (как когда-то свою повесть о нём). Потому что мне негде их было спрятать. И у меня не было ни одной подруги в этом огромном городе, кому я могла бы доверить свою драгоценность. И я доверила её – огню... огонь был надёжным товарищем, он умел хранить тайны лучше, чем кто-либо другой.

...Но где-то в вечности они живут, не сгорая – письма моего отца ко мне...
А эта вечность на самом деле не «где-то» – а в моём сердце.

* * *

...Пять утра... дождь... темень...
...мокрый троллейбус... проходная... чёрный халат...
...цех, грохот станков...
...считаю бумагу...
Мои бедные руки изрезаны, как бритвой. На них уже нет живого места...

Итак, в Одессу я не поехала. И вряд ли в ближайшее время поеду.

Переписка, так бурно начавшись, постепенно затухает... Я не очень умею писать письма. Отец, видимо, тоже. Я не знаю, о чём ему ещё написать. Не о домашних же ссорах? Не об этой же маете? Зачем ему морочить голову? Всё равно он ничем мне не поможет из своего прекрасного далека... Да и вообще – разве один человек может помочь другому понять, зачем тот мается в этой жизни? Зачем я появилась на свет? Какой в этом во всём смысл? Не для того же я родилась, чтобы сидеть в этом пыльном цеху и считать бумагу. Да, я мечтаю о Литературном институте, мне хочется писать. Но вот этой осенью мне писать почти не о чем... За долгие месяцы в Москве я написала всего несколько стихотворений.

В степях ветра настоены
на солнечной тоске...
Падут дожди со стенами
на улицу Массне...

За изгородью каменной
кольшутся сады.
Дома как будто канули
в апрельский плеск воды...

Уходит город в дымные
холмы —
и там светло...
Живу пока – без имени
в пристанище ветров...

Это – про городок в степи, в котором я жила ещё недавно. Хотя там не было никакой улицы Массне, я её придумала...

* * *

...Пять утра, за окном – густая осенняя тьма...
...чашка крепкого кофе, в доме все ещё спят...
...а я выхожу в сырость и тьму...

Вот я и не поехала к отцу, я поддалась на гнусный шантаж, я еду на дурацкую работу, я искала весь август, и ничего лучшего не нашла, я искала сама не знаю что, а Фёдор наезжал на меня каждый вечер, и особенно в выходные, я и раньше не любила выходные, а теперь их просто возненавидела. Фёдор хотел, чтобы я уехала. Наверное, оно было бы и лучше, но я почему-то не уезжала, а можно было бы вернуться к бабушке на Философскую улицу – и жизнь моя сложилась бы совершенно по-другому. Это была бы другая жизнь. Теперь, спустя много лет, я это отчётливо вижу. А тогда я этого ещё не могла увидеть. Но – чувствовала: я должна быть здесь. Уехать – значит, пойти против судьбы. Поэтому надо терпеть. Претерпевать. Наезды. Нападки. Крики. Упрёки: не такая, как все, всё не как у людей, все дети – как дети, и только ты одна... такая... не подарок... наказание господне...

Ну, и так далее.

Если б ты знал, отец, что было, когда я сказала, что хочу поехать к тебе! Что было в нашем доме!...

Иногда вспоминается: «Где же вы были, девушка?! Он так ждал вас!...» – и становится грустно-грустно... Ну, почему всё так?!

Над Арбатом дожди распяты...
Осень шастает по Арбату.
Осень кажется виноватой —
как когда-то...

Листопады в дождях блуждают...
И чего-то чертовски жаль мне...
Только тут ни при чём, пожалуй,
осень...

Мама:

– Ты заметила, что во всех твоих стихах последнего периода идут дожди?
Как не заметить? Они идут и в моей душе, грустные одинокие дожди...

Отец. Он больше не приедет повидать меня. Я это чувствую. Он так ушиблен нашей невстречей, что вряд ли решится повторить. Стало быть – не судьба...

* * *

Завели котика. Я назвала его – Флер. По-французски это означает «цветок».

Котик трёхцветный: серенький, с жёлтыми подпалинами и белой грудкой, похож на мою милую Киню, которая была у меня когда-то в детстве... ещё в Оренбурге... Ласковый такой котик. Бабуся, у которой мы его приобрели, приходила его навестить, и мы её поили чаем. Она гладила его, вздыхала, долго не уходила. Тихая такая бабуся, добрая. Жалко, что вместе с котиком нельзя приютить и его бабушку. Она одевалась в прихожей, в своё старое серое пальто и допотопную фетровую шляпку, какие носили ещё до войны, и глаза её были мокры от слёз.

– Заходите, когда соскучитесь по Флерчику, – говорила ей на прощанье мама. Но бабушка больше не пришла.

* * *

Приехал старый друг – дядя Рома Вассерман из Оренбурга. Который катал меня в детстве на своём смешном мотоцикле. Мы дружили: восьмилетняя девочка и пятидесятилетний пожилой человек. Мы не виделись десять лет. Он очень удивился, увидев меня. А он, вроде, и не изменился. Так, может, он и не был десять лет назад ещё пожилым? Вообще, для меня всё, что за пределом тридцати лет, – старость...

Дядя Рома, взглянув на нашего котика, сидящего на книжном шкафу и глядящего оттуда футбол по телеку, сказал:

– О, ваша кошка любит смотреть футбол?

– Кот, – уточнила я. – Его зовут Флер.

– И ты мне будешь рассказывать, что это кот? Или я уже не могу отличить кота от кошки? – засмеялся дядя Рома.

За ужином вспоминали Оренбург, оренбургских друзей, жену дяди Ромы Зину, его детей Светлану и Юрку, они уже совсем взрослые тётя и дядя. Ещё вспоминали поездки в лес большой компанией, на озёра, и смешной дяди-Ромин мотоцикл вспоминали, и как весело праздновали Маришкино рождение... Фёдор много шутил и оглушительно ржал, мама была весёлая и милая, как всегда, когда у нас гости.

Дядя Рома приехал на неделю в командировку и остановился у нас. Я радовалась, что целую неделю у нас в доме будет веселье, шутки, гоготание Фёдора. И целую неделю он меня не будет пилить! Дядя Рома подарил мне недельный отпуск от домашних разборок. Хороший дядя Рома. Конечно, он меня не узнал, когда увидел, он просто оторопел: «А... где же маленькая девочка, которую я катал на мотоцикле?..» Теперь Мариша старше меня-тогдашней.

Утром дядя Рома уехал в свой главк, а вечером почему-то не вернулся. Мы долго ждали и не ложились спать, мама начала волноваться. Но Фёдор успокоил её: «Роман собирался навестить своих однокурсников. Видно, засиделся допоздна, и его там оставили на ночь». (Телефона у нас тогда ещё не было).

А на следующий день Фёдор вернулся с работы мрачнее тучи и сказал тихим и потерянным голосом: «Роман Осипович вчера умер». Мы с мамой так и ахнули. Оказалось: на работе дядю Рому прихватила язва, он давно страдал этой болезнью, вызвали «скорую», отвезли в больницу, оказалось – кровотечение, ему срочно сделали операцию, но через несколько часов он умер... Это было так дико! Это не укладывалось в голове: только вчера он сидел вот тут, в кресле, шутил... говорил мне: «Приезжай в гости, покатаю, как в детстве, на своём драндулете, он в полном порядке, он ведь вечный... Перпетуум мобиле!»

И – вот...

«Господи, – заплакала мама. – Надо Зине слать телеграмму... Какой ужас!»

* * *

...Вечером долго не могу уснуть, смотрю на окна дома напротив, в каждом окне – как будто маленький театр... и вдруг меня пронзает жуткая мысль: в этих окнах – будущие покойники!.. Мы все – мертвецы. Кто – завтра, кто – сегодня... Весь город заполонён будущими покойниками. Миллионы!... И всем уготовано – ОДНО. Без вариантов. Ужас обнимает мою душу... Мрак и безысходность. И зачем тогда всё? Всё наше копошение... все наши усилия... и вообще всё! Я ненавижу смерть, ненавижу! Она лишает жизнь СМЫСЛА. Вон там, на шестом этаже, двое – он и она – целуются у незашторенного окна, они такие счастливые, а смерть уже поджидает их, мерзкая, ненасытная... Так стоило ли родиться?.. влюбляться?..

...А скоро зазвонит будильник, и я опять побреду под низкими, холодными звёздами к метро, по мокрой дорожке, заваленной тяжёлой листвой, мёртвой листвой... и опять буду ехать в холодном троллейбусе среди серых, как будто бы уже давно мёртвых лиц... и, надев чёрную робу, опять буду считать листы бумаги, сделанной из убитых деревьев... и кто-то напишет на них мёртвые, пустые слова, которые ничего не значат... и никому не помогут... и никому ничего не объяснят... Как это всё ужасно! А если всё так, то можно и всю жизнь печатать дурацкую листовку «мухи – разносчики заразы» – какая разница?! Какой смысл искать любимую работу, если всё равно умрём? Смысл и смерть – вещи несовместимые! Смерть смеётся над нашими поисками смысла жизни... смерть смеётся над нами... она посмеялась над дядей Ромой... она смеётся над каждым из нас... она смеётся даже над тем крошечным младенцем, которого мать укачивает на руках, ходит туда-сюда в золотистом окошке на третьем этаже в доме напротив... Какой в этом во всём смысл? рожать детей – чтобы они потом умерли?.. родиться на свет – чтобы с каждым днём, с каждым часом, с каждым мгновением приближаться к ЧЁРНОЙ ЯМЕ?.. Как глупо устроена жизнь, как нелепо... И вся музыка кричит только об этом: ЗАЧЕМ МЫ УМИРАЕМ?! ЗАЧЕМ?! КАКОЙ В ЭТОМ СМЫСЛ?! И Мендельсон, и Бах, и Шопен рыдают об этом. И Моцарт, и Бетховен... Ни у кого нет ответа... И сколько бы люди ни задавали этот вопрос, миллионы лет, миллиарды людей – нет ответа! Самых умных, самых красивых, самых талантливых – и тех, приходит – и сжирает! Вот эта неотвратимость, вот эта обречённость, вот эта одинаковость ужаснее всего. Просто руки опускаются... Ведь как бы ни жил, как бы ни старался – конец ОДИН. Попрыгал, поскакал, почирикал – и ку-ку! Хорошо жил, плохо ли жил, отдавал последнее другу или воровал по-чёрному, любил ли всех беззаветно, или убивал – всё равно ку-ку! Глупость какая-то получается... Глупость, бессмыслица.

Ну, а как же моя бессмертная душа?.. Та частичка меня, которая не приемлет смерти, не верит в неё?.. Или это просто страх? бунт? протест? просто невозможность смириться с очевидностью?.. Ведь пока человек жив – он протестует всем своим существом против не-жизни. И это естественно. Пока я – сосуд, наполненный жизнью, я не верю в смерть. Не приемлю её. Потому что не чувствую её в себе. Полнота не приемлет пустоты. Не чувствует её. Не ощущает. Но это – пока...

* * *

...И опять звонит будильник, и опять я выхожу в промозглую сырость, и опять топаю в полной тьме пешком до метро... Первый поезд, первый троллейбус, одни и те же лица, одни и те же разговоры: «Мне уже год и два месяца до пенсии, жду – не дождусь...» – «Вы счастливый человек. А мне вот ещё пять лет мучиться...» Усталые, скучные люди. Одна мечта – скорая пенсия. Неужели и я через какое-то время превращусь вот в такую же тётчку, считающую дни до пенсии?... Какой ужас!!! И целую жизнь буду ездить в этом холодном троллейбусе, под этим проливным дождём, среди этих серых, смятых лиц?..

* * *

Чтобы хоть чем-то разнообразить трудовые будни, я стала возвращаться домой разными маршрутами.

Как-то, выйдя из проходной, направилась не в сторону Динамо, а в сторону Останкино. И выяснила, что до нашего района можно добраться на электричке. Так я открыла Грачёвку. Старинную усадьбу, окружённую вековыми деревьями и прудами. Мой путь от платформы Ховрино до нашего дома – лежал прямо через неё.

Соседка со второго этажа, милая армянская старушка, которая родилась в этом районе и прожила тут всю жизнь, рассказала, что усадьба принадлежала когда-то графу Грачёву, а после революции то ли сын графа, то ли ещё кто-то в семье сошёл с ума от потрясений, и повесился в этой усадьбе, и граф передал усадьбу государству, и в ней основали психиатрическую больницу. Короче говоря – психушку. Больница и по сей день в усадьбе. Уже просто больница, но отделение для больных на голову там тоже есть – такова традиция этого места.

* * *

...Выйдя из дома, решила отправиться на работу на электричке. И потопала в Ховрино – через Грачёвку...

Когда я вошла в её чёрные аллеи, я пожалела о своём решении, но было поздно. Возвращаться обратно и тащиться к метро – потрачу целый час и опоздаю на работу.

...Пришлось идти в этой черноте, среди причудливых, страшных, чёрных деревьев, ожидая, что из-за любого из них выскочит сейчас псих в длинной смирительной рубашке и в белом колпаке... А на каждом, скрипящем на ветру суку, чудилось... болтается повешенный сын графа... Жуть!.. Люди, не ходите в Грачёвку в пять утра в октябре!

* * *

...За два месяца у меня накопился такой недосып, что я засыпала на ходу. И над бумажными горами клевала носом... сбивалась уже на третьем десятке... мне уже было всё равно... ведь никто не пересчитывал, я научилась прикидывать «на глазок»... Совершенно бессмысленная работа. Самая первая в моей жизни «взрослая» работа – и такая бессмысленная!

* * *

...Пять утра... будильник... чашка чёрного как смола кофе... выхожу в мокрую тьму...
...Иду к метро почти на ощупь... рассветы с каждым днём всё темнее и темнее, их и рассветами не назовёшь, а тьма всё гуще и непрогляднее...

Но, может быть, будет в этой жизни что-то хорошее, праздничное?.. И может быть, Мой Клоун ещё улыбнётся мне своей замечательной улыбкой и скажет хорошие слова?..

Ах, как сладко мечтается рано утром, в октябре, на тёмной, мокрой, скользкой дорожке, под морозящим холодным дождём...

* * *

...Динамо. Выхожу в мокрую тьму... за десять минут в мире не стало ни светлее, ни суше... как началось в августе – так и льёт... капает, хлюпает, моросит... На пустой площади, в чернильной тьме – первый троллейбус, жёлто-синий, но кажется, что он весь вымазан чёрными чернилами, и только жёлтые окошки светятся, как одуванчики... единственные тёплые пятнышки на этой чёрной картине...

* * *

...И вновь облачаюсь в чёрный халат и начинаю считать бумагу... руки все в порезах, как будто я считаю не бумагу, а осколки стекла... Но как же мне помогает «Золотая роза» Паустов-

ского! Эта книга действительно написана для меня. Она стала моим вторым заветом – после гриновской «Бегущей по волнам». Ищи, ищи в каждом сером дне золотую крупицу смысла! Ищи! Всё в этой жизни неспроста. Красота кроется даже в куче мусора. И если ты занят поиском этих золотых песчинок, то никакая работа будет тебе не страшна и обыденность не убьёт тебя. Ищи!

* * *

...Белые горы бумаги в лучах раннего солнца сияют, как снег на горных вершинах... Да, в этом цеху очень красиво. Нигде и никогда я не видела столько белой бумаги! Столько чистой бумаги, ждущей новых слов. И моих – тоже...

* * *

...Тяжёлый, холодными комьями дождь...

Сегодня – первая в моей жизни получка. Еду в битком набитом автобусе к Белорусской, незнакомая девушка заговаривает со мной, какой-то мгновенный контакт, милое лицо, на её руке – новенькое обручальное кольцо, она пишет мне на клочке бумаги свой телефон и просит звонить, заходить в гости, говорит: «Мы с мужем будем рады. Мы только две недели как поженились, но друзей у нас нет, мы очень одиноки».

Почему я не позвонила ей? Что-то удержало. Может, боялась войти в дом к счастливым людям? Может, боялась, что войти после этого в свой собственный дом будет ещё труднее?..

Так я ей и не позвонила... Хотя очень хотела. А потом этот листочек с телефоном и вовсе затерялся... Но и сегодня, спустя тридцать семь лет, я почему-то помню эту милую девушку. Может, потому, что она была первой в этом огромном городе, кто улыбнулся мне и предложил мне свою дружбу? И на те десять минут, что мы ехали с ней в автобусе – наша дружба состоялась. Коротенькая, но очень тёплая и сердечная. Спасибо!

* * *

...Первый, мокрый, крупными хлопьями снег... 22 октября 1968 года, вечер. Площадь у Белорусского вокзала. Тёточка в намокшем пальто с кошёлкой хризантем. Покупаю белые, нежные, остро пахнущие снегом, хризантемы... Для мамы. Сегодня у неё день рождения. Ей сорок один год, она ещё молодая. А Фёдору и вовсе тридцать восемь. Но они мне кажутся очень солидными людьми. Почти стариками. Не внешне – а внутренне. Вообще, людьми с другой планеты... С которыми мы никогда не поймём друг друга. Потому что мы говорим на разных языках. Слова вроде те же – но значат они для меня и для них что-то совершенно противоположное. Несовместимое. Неужели все дети так живут со своими родителями? Неужели никто не понимает друг друга? Неужели это невозможно в нашем мире – понимание?..

Зима с запахом горячего сургуча

Синим светом светились всю ночь снега...
А потом наступил бледный день.
И они лежали потухшие и усталые,
будто закрыли
жгуче-голубые глаза...

В начале ноября я уволилась из типографии и устроилась на почту. Я решила, что работа на почте будет для меня хорошей тренировкой в общении. Хочешь, не хочешь – а с посетителями нужно разговаривать.

Но в перерыве между типографией и почтой я чуть не поступила учиться в педагогическое училище. Оно готовило воспитателей детских садов. Только мало кто хотел иметь такую непрестижную профессию, и в училище поэтому был сильный подбор. Я увидела объявление о дополнительном приёме. И меня вдруг осенило, что это – как раз для меня! Учительницей в школу ни за что бы не пошла, я терпеть не могу школу! А вот в детсад, к маленьким детям... Я любила маленьких детей, и они ко мне «липли». Я мечтала, что у меня самой будет когда-нибудь много-много детей... Штук семь, не меньше. Такой маленький оркестрик... Я обожала играть с маленькой Маришкой. Но Маришка уже выросла. Ну, вот, будет у меня много детишек в детсаду, буду читать им Андерсена, мастерить с ними декорации к сказкам, разыгрывать спектакли... Здорово! Зачем мне Литературный институт? Стихи я и так буду писать, куда я денусь?

И я храбро отправилась к директору училища. Она взглянула в мой школьный аттестат и удивилась (там были только пятёрки и четвёрки – поровну).

– А почему к нам, а не в пединститут? К нам идут, в основном, троечницы.

– Я люблю маленьких детей.

Она удивилась ещё больше.

– На каком-нибудь музыкальном инструменте играете?

– На аккордеоне.

– Прекрасно. Рисуете?

– Скорее нет.

– Плохо.

Она задала мне ещё несколько отрывочных вопросов. И вдруг – огорошила резким приговором:

– Да вы, милая, профнепригодна!

– Почему?! – опешила я.

– Так вы же заикаетесь! Заики нам не нужны.

– Я не заикаюсь... просто я волнуюсь немного...

– И вы мне будете рассказывать? Да я же слышу! Я на этом собаку съела. Меня не проведёшь. С дефектами речи (шепелявых, картавых и тэ дэ) мы не принимаем. Тем более заик! Вас к детям запусти – вся группа начнёт заикаться!

Переулок, в котором находилось училище, назывался Лихов. Какое поэтическое название!

Лихов переулок,
Горькие места...
Тяжело и гулко

Валится листва...

Был поздний вечер, холодный дождь с хлёстким ветром, потухшие фонари, тьма, и было так мрачно в этом Лиховом переулке... и очень горько. А я-то думала, что я уже совсем нормально говорю, как все люди... Я плелась по Садовому кольцу к Маяковке, хотелось плакать, и злость закипала на эту директрису, и казалось, что вслед мне грустно и недоумённо смотрят маленькие чудные дети, которых я уже нафантазировала в своём воображении, и полюбила их, и вот мне дали унижительного пинка – и никакой андерсеновской сказки с хорошим концом не получилось...

* * *

И вот тогда я пошла и устроилась на работу в почтовое отделение.

Начальница не упрекала меня в дефектах речи. Ей было плевать на это, а может, она и не заметила ничего. Думаю, если бы я была «шепелявой, картавой и тэ дэ», она бы всё равно меня взяла. Ей срочно нужен был работник в самое «горячее» окошко.

В этом окошке была большая нагрузка, маленькая зарплата и большая текучка кадров. Окошек было два. В одном – выдача, в другом – приём. В окне «выдачи» работница явно скучала (ну, выдаст за день пару денежных переводов и парочку писем до востребования), а в остальное время читала газету и лузгала семечки. А к окну «приём» (к моему окошку) всегда стояла очередь. Средняя, большая или гигантская. В эпоху глобального дефицита из Москвы слали во все стороны огромной империи ВСЁ!!! Конфеты и печенье, тетради и карандаши, мыло и нитки, разные шмотки и игрушки...

Мне положили ученический оклад – 45 рублей, хотя ученицей я была ровно полчаса, пока начальница объясняла мне, что к чему. (Но оклад повысили только через полгода – на 15 рублей.) Всю причитающуюся мне сумму я в руках ни разу не держала. Во-первых, деньги делились на аванс и зарплату, а во-вторых из них вычитались разные налоги. Но всё равно это были деньги. Я их отдавала маме, а она выдавала мне каждый день мелочь на калорийную булочку и на шоколадный батончик. В ту осень и зиму почему-то всё время жутко хотелось сладкого, хотя я совсем не сластёна. Я даже покупала просто рафинад и держала его в кладовке, где хранились коробки для бандеролей, упаковочные мешки и сухой сургуч. Я периодически бегала туда, засовывала кусочек рафинада за щёку и возвращалась в своё «горячее окошко».

У меня были весы – как на рынке, с гирьками, и счёты с костяшками. Овладеть и тем и другим не составляло труда: ведь почти у каждой девочки были в детстве такие игрушечные измерительные приборы, так как все любили играть «в магазин». Письма и бандероли взвешивались на весах. В зависимости от веса и от дальности пункта назначения взималась плата. Заказные послания стоили дешевле, ценные – дороже. В ценные вкладывалась опись. А ещё у меня был стол с упаковочной бумагой, грубой и серой (это вам не финский атлас!), она кошшшшмарно шшшшуршшшшала... (От этого шуршания по мне бежали колючие мурашшшшки...) Пожалуй, это было самое неприятное в моей работе.

А ещё в моём хозяйстве была большая электрическая кастрюля с сургучом. За ночь сургуч застывал до состояния кирпича, и, приходя утром на рабочее место, я должна была тут же включать кастрюлю в розетку. Нагреваясь, сургуч превращался в густую коричневую кашу со специфическим запахом... В сургуче торчала деревянная ложка. Этой ложкой я и накладывала на ценные бандероли и письма горячие сургучные печати... Точнее – ложкой накладывался толстый блинчик, который надо было тут же, не мешкая, пока сургуч не застыл, быстро прижать его печатью. Одним словом – припечатать! И подержать так минутку... Тогда

в блине отпечатывалось: номер почтового отделения и сегодняшняя дата. В общем, всё проще простого. Главное – не капнуть сургучной горячей кашей себе на руку. Ожоги болели долго...

Пять раз в день приходила почтовая машина и увозила все письма и бандероли на почтамт. Там шла сортировка по направлениям, и дальше почта развозилась по вокзалам. В машину всё загружалось в мешках. Мешки накрепко завязывались и запечатывались сургучными печатями. К мешкам прилагались описи: сколько в них и чего, и внутри тоже лежали описи. Так что писанины было много. Всё было на строжайшем учёте. Ничто не должно было потеряться! Или уехать куда-нибудь не туда! Самая большая отправка происходила вечером, после закрытия почты для посетителей. Тут-то и начиналась настоящая запарка... Так что домой приходила в десятом часу, совершенно умотанная. Работа была несложная. Но её было слишком много.

* * *

От моего дома до почты – полчаса пешком. Можно вставать не в пять утра, как когда я работала в типографии, а в семь – и это просто шикарно!

* * *

В ту зиму я стала завсегдаем Зала Чайковского.

Наконец, я услышала ЖИВОЙ орган!!! Ради этого стоило приехать в Москву. Хотя бы ради этого.

Ливни... метели... огромный, пустой город, наполненный одиночеством и музыкой...

Тысячи светящихся окон вокруг – и ни в одном из них меня не ждут... А я вынуждена возвращаться в дом, где вечно мрачный отчим и вечно больная мама. В первую московскую зиму мама сильно простыла и была постоянно больна. Всё время ходила с водочными компрессами на горле, Фёдор продолжал злиться на меня за то, что из-за меня бросил любимую работу на стройке, что из-за меня уехал с любимой Украины, ему скучно в министерских кабинетах, ему не хватает степного простора, простора живой стройки. А мама устаёт ездить в свой проектный институт на другой конец города и возвращается всегда с «раскальвающейся» головой. Она подумывает уволиться оттуда и подыскивает работу поближе к дому, чтобы не ездить на метро.

И только тёплая, ласковая сестрёнка, спящая как в детстве, рядышком со мной на узковатом диване – милый, любимый ребёнок, всем довольна, хохотушка, щебетунья, наш волшебный колокольчик – единственная радость в жизни. Смешная, она боится ездить на метро, боится турникетов и эскалаторов, и я беру её всегда на руки, хотя ей десять лет. Она худощавая и лёгкая, как пушинка. Ну, может, и не пушинка уже, но всё ещё подъёмна.

* * *

...Иногда мне снится маленький городок в степи, где мы прожили последние восемь лет... Это те самые степи, которые назывались когда-то в древности половецкими степями... А потом они назывались Диким полем – когда монголо-татары опустошили эти земли... И там за городом был древний курган, поросший сухой, жёлтой травой, – моё любимое место для уединения...

...Хотя я вовсе не скучаю о Вольногорске, и его десять улочек последние годы казалась мне клеткой... нет, не скучаю, но всё равно снится... Мама и Фёдор строили этот город, а я ходила в школу, писала стихи, бродила по этой половецкой степи, по этому Дикому полю и маялась от одиночества...

...Снилась порой Аня-маленькая, моя одноклассница, молчаливая девочка с задумчивыми глазами – родственная душа, хоть и была она все годы чужой подругой. Так бывает. Так что общения у нас было не так много, как мне хотелось. Теперь я думаю, что надо было не ком-

плексовать, а идти к ней каждый раз, когда хотелось. Кто мне внушил эту неуверенность в себе? Может быть, Фёдор?.. Мне кажется, если бы я жила со своим отцом, я была бы совсем другим человеком – весёлым и уверенным в себе. Может быть, мне даже не надо было бы лечиться от страха речи. Может быть...

Да, надо было не заикливаться на том, что Аня – чужая подруга и я там третья лишняя. Всё это глупости! Надо было жить так, как подсказывало сердце. Но, к сожалению, мудрые мысли приходят в голову с сильным опозданием... А сейчас мы все разъехались из этого городка, и дружбы с Аней тем более не получается, так как я не очень люблю писать письма, а она и вовсе не расположена к этому. Нужно или уметь писать письма «о том – о сём», а в общем-то ни о чём (так и по телефону многие треплются, только чтобы убить время), или – по-настоящему открываться в письмах. Чего ни Аня, ни я не любим. Точнее – нам это трудно, поскольку мы обе скрытные по натуре. Два скрытных человека не могут вести бурную переписку. Но мне кажется, она тоже вспоминает меня, и как мы ходили с ней на наш полустанок, где мимо и мимо проносились скорые поезда... не останавливаясь... обдавая нас запахом мазута и горячим ветром странствий... Мы с Аней были заядлыми путешественницами. В душе.

* * *

...Холодная балконная комната, гора любимых пластинок, старая радиолоа и – Мендельсон... Как когда-то слушала «Танцующих эвридик», так теперь слушаю концерт для скрипки с оркестром Мендельсона...

Закричи, музыка,
в неистовстве белом!
Закричи, музыка,
боль мою.
Сумасшедшая и седая,
упади
в тоске на колени,
пусть танцующие танцуют
свой запряженный крик —
выжженную расстояниями любовь...
Упади, музыка,
упади в тоске на колени.
Ты,
ты, но не я!..

* * *

Увольняясь из типографии, я жалела только о библиотеке. Но я нашла выход: попросила одного парнишку, который работал в типографии автокарщиком и жил неподалёку от меня, чтобы он брал для меня книги. И он брал. И заносил их мне на почту, по дороге домой. Перечитала всего Паустовского. Ну, «Золотая роза» – на первом месте, конечно. И рядом – «Чёрное море». А заодно почти всю домашнюю библиотеку: всего Чехова, всего Тургенева, Стендаля, Вальтера Скотта. Книги заменяли мне друзей. Но общения катастрофически не хватало. Бабушки и дедушки на почте – это, конечно, хорошо и мило. Но душа хотела чего-то другого.

Ни одного дома, в который можно прийти в гости. Ни одной двери, в которую можно постучать. Я подыхала без общения! Никогда не думала, что я так нуждаюсь в нём. Может, я раньше и не нуждалась? Может, эта острая нужда возникла только сейчас? Ведь помню, помню, как я бродила по улочкам нашего степного городка, радуясь, что мне никто не нужен! А теперь

вот – мечтала постучать в чью-нибудь дверь... Я горько корила себя за то, что потеряла телефон Люси, с которой познакомилась в октябре, в автобусе.

И мне ничего не оставалось, как постучать в маленький вагончик...

* * *

Этот вагончик светил своим оранжевым окошком у меня на пути. Он мне напомнил вагончик в зарослях евпаторийского парка... когда-то в детстве я была в гостях в таком вот вагончике... и пила там чай, и общалась с двумя милыми девушками. Ах, как он уютно светил окошком... И тот – давний – и этот, сегодняшний...

И я не выдержала однажды. И постучала в его дверь.

Была зима, очень морозный, скрипучий вечер, с крупными низкими звёздами...

Я возвращалась с работы, со своей почты, по тёмной пустынной улице, мимо снежных пустырей, морозно скрипя при каждом шаге...

А в вагончике пылала печка-буржуйка, и две весёлые девчонки совсем не удивились моему явлению. Валя и Нина из Калуги. Они меня угостили крепким чаем, мы поболтали о том, о сём, они приглашали заходить ещё.

* * *

...К моему окошку всегда стояла очередь, а к праздникам – она вилась даже по лестнице: заботливые москвичи слали всем родным и знакомым подарки. Я научилась упаковывать бандероли с космической скоростью.

Иногда приносили экзотические бандероли, но я никому не отказывала, помню: упаковала даже пять футбольных мячей в Грузию! Начальница чуть в обморок не упала от этих бандеролей, очень ругала меня за слабохарактерность (надо уметь говорить посетителям твёрдое «нет!»), но дело было сделано. Так что пять грузинских мальчишек радовались чудесному новогоднему подарку. И я вместе с ними.

Пока упаковывала и оформляла бандероли, посетители начинали рассказывать свои истории... Странно: сама бы я, придя на почту, ни за что бы не стала рассказывать приёмщице о своей жизни. А мне почему-то рассказывали...

Мне нравится работать руками (хотя голова тут тоже нужна). Я устанавливаю личные рекорды по скорости упаковки бандеролей. Я стала местной достопримечательностью: есть люди, которые просто приходят посмотреть, как я это делаю. И приводят знакомых.

Упаковываю и слышу шёпот: «Да, это она... Гляди, гляди! Хоп – и готово. Фантастика! Прямо цирк какой-то. Как она это делает?..»

Мне пишут благодарности в «Книгу жалоб».

Один старичок приходил, усаживался за столиком в зале и сидел подолгу.

– Вы что-то хотели? – спрашиваю его.

– Я просто люблюсь, как вы работаете.

* * *

Эта зима пахла горячим сургучом...

В ту зиму меня постоянно преследовал запах горячего сургуча. Он тянулся за мной по зимней морозной улице – как шлейф... Не то что бы он был неприятный, но он был слишком густой и прилипчивый: одежда, волосы – всё пахло горячим сургучом.

Казалось, и все внутренности у меня пахнут сургучом.

* * *

В эту зиму появились шариковые ручки! Но они пока редкость, дефицит. Поэтому открылись пунктыправки стержней. Туда всегда очереди. Можно весь обеденный перерыв просто-

ять, пока заправишь свою ручку. Один стержень используется много раз, пока шарик не разбалтывается до такой степени, что ручка начинает протекать. Тогда её с жалостью приходится выбрасывать.

* * *

Старички и старушки, которые приходят просто пообщаться. Усталые, замотанные женщины. Приходят одни и те же. Я всех их уже знаю: кто-то посылает бандероли в воинскую часть, кто-то – в лагерь, у кого-то дети и внуки служат в армии, у кого-то сидят за колючей проволокой. Такова жизнь. Я помню всех в лицо, узнаю почерка. Помню все их истории, которые они мне рассказывают, пока я оформляю их бандероль и выписываю квитанцию.

Один дядечка долго стоял, очень долго, всё не уходил, смотрел, как я работаю. Мешал мне своим взглядом. Потом спрашивает:

– Вы что, всех помните?

– Ну, да. Если я человека один раз увидела – то уже запомнила навсегда.

– Вам надо работать разведчицей с вашей зрительной памятью! А не на почте.

– Кем?!

– Разведчицей.

– Шпионкой, что ли?

– Зачем же так грубо? Не шпионкой, а разведчицей! Такая уникальная память зря пропадает.

– Она не пропадает.

– Но не на почте же работать с такими фантастическими способностями!

– Это временно. Вообще-то, я собираюсь в Литературный институт.

– А... пишете? И что, если не секрет?

– Не секрет. Стихи. Ну, и рассказы тоже. А о карьере Мата Хари никогда не мечтала.

Но он не сразу отстал. Он ещё приходил, и не раз, и всё уговаривал меня. Он даже книжечку какую-то красную показывал – какое-то удостоверение, но я не вчитывалась в него. Так что из какого он был учреждения, точно сказать не могу, только помню, что дядечка был серьёзный и настойчивый.

Но ведь быть разведчицей – это всю жизнь врать! Это жить НЕ СВОЕЙ жизнью!

Я так ему прямо и сказала:

– Знаете, я совершенно не умею врать. Ненавижу, когда врут! Так что у меня ничего не получится, извините.

Удивительно, но этот аргумент на него подействовал. И он от меня отстал.

* * *

Начальница заметила, что в перерыве я пишу на бланке стихи.

Прочла. Удивилась. Похвалила. И дала мне адрес газеты «Московский связист».

Редакция находилась в здании Главпочтамта, я вошла туда с дрожью в сердце – здесь меня в августе ждал отец, этот зал для меня навсегда озарён его присутствием... Вот здесь, напротив окошка «до востребования» он просидел три дня... за этим столом писал мне письма, макая ручку вот в эту чернильницу... Когда я изредка бывала на почтамте, получая письма от отца по-прежнему до востребования, я всегда хоть на минутку присаживалась на это место – и мысленно общалась с отцом...

Посидев и сейчас за этим столом, написав на телеграфном бланке: «Здравствуй, отец! я опять здесь, за «нашим» столом, шлю тебе привет из московской зимы, у меня всё нормально...», спрятав этот бланк в сумочку, я отправилась в небольшую комнатку на втором этаже. Здесь работали молодые симпатичные ребята и девушки, все – выпускники факультета журналистики МГУ, я оставила им свои стихи. Там был и фотокор. И хоть я отнекивалась

и пыталась увернуться от его объектива, но он всё-таки ухитрился щёлкнуть меня. С этой фотографией вскоре вышел номер газеты с подборкой моих стихов. Моя вторая московская публикация. А первая случилась летом, во всесоюзной «Строительной газете», там опубликовали мой стишок под названием «Дома». И Фёдору звонили друзья-строители из разных городов, говорили: «О! мы читали стихи твоей дочки!» Несколько дней Фёдор гордился мной. Но, наверное, те же друзья задавали мучительный для него вопрос: «А чем твоя дочка занимается?» И оказалось, что ничем. И вот тогда-то Фёдор на меня и взъялся, и хотел срочно запихнуть в строительный институт. Но – не вышло.

* * *

Чтобы как-то утешить своих домашних, (что вот, мол, готовлюсь в институт, не волнуйтесь), поступила на заочные подготовительные курсы на факультет журналистики в МГУ. Пишу и отсылаю по почте разные задания. Всё слишком легко. И скучно.

Всё чаще посещает беспокойная мысль: а вдруг поступлю? сдать экзамены – не сложно, и публикаций у меня много. А что потом, когда закончу? Всю жизнь торчать в каком-нибудь «Московском связисте», или ещё где-нибудь, всю жизнь писать о тружениках заводов и полей... О тоннах чугуна и тоннах пшеницы... Чугун и пшеница – это, конечно, хорошо. Кому-то, может, интересно писать и об этом. Но мне-то зачем это надо? Вот представила на минутку, что всю жизнь мне надо будет писать о том, что скажут. Писать по заданию редакции. По указке. Прямо тошно стало. Да у меня и не получится! В школе ведь никогда не писала на заданную тему. Лучше было получить двойку. Я писала сочинения только на «свободную» тему. Тогда зачем мне эта журналистика? Ведь у меня явная профнепригодность!

* * *

Сдружиться с кем-нибудь на почте не получалось: все работницы были взрослые, замужние тётки, обременённые семейными заботами, болеющими детьми, разговоры были только об этом, это было скучно, скучно...

Иногда ко мне заходят молодожёны, она маленькая, а он длинный и прямой, как телеграфный столб, но большой симпатяга, хотя она – далеко не красавица, но видно, как они любят друг друга: сияют их глаза, сияют новенькие обручальные колечки... Вряд ли у меня когда-нибудь будет что-то подобное в жизни... Нет, я не завидую, я рада за этих ребят, но со мной такого случиться не может. Пожалуй, эта пара – первая встреченная мной в жизни пара, глядя на которую, можно было сказать: эти двое любят друг друга. Иногда я встречала их на улице, они всегда шли, взявшись за руку. Это было так трогательно.

(И сейчас, спустя тридцать пять лет, они ходят, взявшись за руку. Уже не очень молодые люди. И я искренне радуюсь за них. И мысленно желаю им счастья...)

А потом появилась ещё одна парочка, прямо в нашем доме, в соседнем подъезде: совсем молоденькие, она просто девочка, не больше восемнадцати, моя ровесница, а на вид ей было пятнадцать – чёлочка, чёрный беретик, ножки тонкие, как спички, в чулочках в резиночку, он в таком же точно беретике и в очочках, невысокий и тощий, с большим толстым портфелем, из-за которого его тощая фигура сильно кренилась на бок, и я переживала за его позвоночник, на вид он был – аспирант, что-то в нём было типично аспирантское. И когда он шёл к дому от остановки, она всегда выбегала к нему навстречу и летела по дорожке, как пёрышко, в своём чёрном беретике на коротких светлых волосиках, неслась, летела к нему навстречу – как будто не видела его тысячу лет! Они целовались на виду у всего дома, не просто чмокались в щёчку, а целовались по-настоящему, как будто только что объяснились в любви, и шли к своему подъезду, тесно обнявшись, как будто один человек, и оба сияли блаженными улыбками... Забыть это невозможно. Значит, это бывает в жизни, бывает?..

И потом, когда она была уже с животиком, такая девчушка с круглым пузиком, она всё равно выходила его встречать, только уже не бежала, сломя голову, но всё равно шла быстро-быстро, готовая сорваться на бег, – только бы поскорее обнять его... И не было в ней ничего особенного, и он был не красавец, такой щуплый, смешной, белобрысый, с бледными веснушками. Но были они так прекрасны оба! И шли неторопливо к дому, и он обнимал её нежно за плечи, и вид у него был такой торжествующий, как будто его жена – первая от сотворения мира женщина, которая ждёт ребёнка! Никогда в моей жизни такого не будет... никогда. Всю жизнь я буду любить печального прекрасного Клоуна, а он об этом даже не узнает! Такая перспектива наполняла моё сердце горьким восторгом...

Только сейчас, спустя тысячу лет, я подумала о том, что мы с той девчонкой были ровесницы, и, наверное, можно было запросто познакомиться с ней, чтобы не чувствовать себя такой одинокой в огромном городе, но мне и в голову это не приходило! Ведь мы были с разных планет. И путь до соседнего подъезда был не короче, чем до Марса...

* * *

Да, постепенно я наживала, точнее – высматривала в этом городе СВОИХ людей, хотя они об этом даже не догадывались. Как вот эти две парочки.

* * *

Был ещё дядечка с РУКАМИ.

Первый раз я его увидела в нашем магазине, стояла за ним в очереди в бакалейный отдел. И меня потрясли его руки. Они были гигантские!!! Огромные, фантастически огромные кисти рук. Мне даже не по себе стало: как будто это пришелец с другой галактики...

Я потом его ещё не раз встречала: в метро, в троллейбусе, ведь он жил где-то рядом. У него и черты лица были крупные, грубые, как будто вырезаны из тёмного дерева, но руки – это что-то!..

И я думала: интересно, что можно такими руками делать? Ведь он работает кем-то. Наверное, на каком-нибудь заводе, ворочает там что-то тяжёлое своими ручищами...

И каково же было моё изумление... изумление и восторг, когда...

...я пришла в свой любимый Зал Чайковского, на симфонический концерт – и...

И увидела там ЭТИ РУКИ!

Эти огромные руки нежно и мощно водили смычком по струнам контрабаса...

Это оказались руки музыканта!..

* * *

Девочка из Чехословакии, Барбара, перестала отвечать на мои письма.

Мы переписывались с девятого класса, обменивались коротенькой информацией где-то раз в месяц. Она изучала в школе русский язык и ей нужна была тренировка.

Мне стыдно было писать ей теперь – после того, как наши танки вошли в её страну. Если бы я вышла на Красную площадь, как вышли смельчаки, у меня было бы моральное право писать ей. Но я не вышла. Я даже не знала, что кто-то вышел на площадь в знак протеста. А такой поступок был бы как раз по мне – с моим критическим отношением к жизни. Да и жизнью я не дорожила, ничего в ней такого особенного не было, чтобы ею дорожить.

Но, тем не менее, судьба сложилась так, что я не вышла. Видно, у Господа Бога были на меня какие-то другие планы. Видимо, сидение бабушки за колючей проволокой, сидение деда и отца – было более чем достаточно на нашу семью. Если бы и я там оказалась – был бы уже перебор... Это я сейчас так думаю. А тогда я просто не знала, не ведала, я приехала в Москву и никого, кроме Варвары Ильиничны из Безбожного переулка, никого в этом городе не знала.

А самой выйти куда-то и протестовать – такое в голову юной провинциалке, только вчера приехавшей в столицу, не пришло. При всём моём «критиканстве» (как говорили домашние), экстремизме и склонности к суицидальным размышлениям. Окажись я в своё время в кругу таких же критически настроенных людей, мой жизненный путь был бы predetermined. Но – Бог уберёт. И, вместо этого, вложил в мои руки «Золотую розу».

Эта книга стала моим евангелием. Кроме пути критики и разрушения того, что ненавистно, есть другой путь – творчества. Сотворения иной реальности, которая будет сильнее и долговечнее преходящей, зыбкой, несправедливой.

Но отчаянные споры с Фёдором были. И с этим парнем-автокарщиком тоже. Оказалось, он – из семьи потомственных военных. Оказалось, он мечтает об армии, о военном училище, о карьере военного. Он был убеждён, что русский офицер – истинный хранитель и носитель русской культуры, он был убеждён, что офицер – самый прекрасный, самый честный, самый благородный человек. Он отсчитывал от своего отца и от друзей отца, которые ушли на войну после выпускного, и победили фашизм. Хотя автокарщик любил книги, и больше всего французскую литературу, и больше всего Стендаля, которого и я тогда обожала, и говорил, что если бы так не любил армию, то непременно стал бы филологом, но на многие вещи современной жизни он смотрел совершенно перпендикулярно, у него в мозгу были жёсткие конструкции, он верил в правильность того, что произошло в Праге, он не считал, что наши ребята-танкисты совершили зло, – они просто выполняли приказ, а приказы не обсуждаются, иначе армия и государство рухнут, и вообще – мы защищали там социалистические завоевания, мы защищали бедных чехословаков от злых экстремистов, мы отстаивали их прекрасную действительность от происков врагов, наши ребята там рисковали своими жизнями, это был братский долг, ну и так далее...

Так что дружбы с будущим офицером у нас не получилось. Вскоре он ушёл в армию, которую так любил, и больше я о нём ничего не знаю. Среди имён нынешних военачальников я его имени не встречала. Видимо, погиб бесславно в каком-нибудь советско-китайском конфликте, или на жарких просторах Африки, защищая социалистические завоевания где-нибудь в Эфиопии или в Анголе... Наивный мальчишка, любящий Стендаля, но свято верящий в правильность военных приказов...

Мой одноклассник Жорка тоже сейчас служит в армии, и тоже в танковых войсках. А если его куда-нибудь пошлют, он тоже, не обсуждая, будет выполнять приказ? Скорее всего – да, ведь Жорка побоялся когда-то даже выступить против учительницы, которая несправедливо гноила нашего одноклассника. Сам же (сам!) предложил всем встать на его защиту – и сам же отступился... Так неужели он способен не выполнить приказ военачальника? Жорка по дороге домой заехал к нам на два дня. Фёдор, которому Жорка всегда нравился, расспрашивал его о службе, рассказывал о своей службе в армии, вспоминал всякие смешные случаи, гоготал, как он умеет гоготать, когда у нас гости... Я в те дни слушала Мендельсона. «Ты не боишься сойти с ума от этой музыки?» – спросил Жорка. «Напротив. Она меня спасает...» Жорка, в мыслях своих, видно, покрутил пальцем у виска... Трудно мне с вами, жители других планет, найти общий язык. Трудно. Точнее – просто невозможно. А у Жорки с Фёдором такое взаимопонимание, что мне Фёдора даже жалко: надо им было с мамой родить себе ещё и мальчика. Очень Фёдору не хватает сына.

Хотя... если бы он давил на сына, как давит на меня, сын от него сбежал бы. Так что, можно считать, что сын от него уже сбежал...

* * *

Зима, скрипучие морозы, дивный лес, лыжи...

Орган в Зале Чайковского...

Запах горячего сургуча...

* * *

За весь год – несколько стихов, написанных на почтовых бланках. Написанных как бы в пустоте. Еще не в Москве. Еще в нигде... Этот город не спешил становиться моим. Я словно бы топталась у порога, в ожидании, когда меня окликнут. Бывали минуты, когда казалось, что не окликнут никогда...

Я по-прежнему утешалась Паустовским, а ещё Стефаном Цвейгом, его «Письмо незнакомки» я знала почти наизусть – так же, как «Бегущую по волнам» Грина.

И продолжала накладывать горячие сургучные печати на чужие ценные письма...

* * *

Настало моё второе московское лето.

Из Литературного института опять пришёл отказ: стихи мои вновь не прошли творческий конкурс. Значит, надо выбирать другой вуз. Если не поступлю и в этом году – Фёдор меня съест! Ведь мне через месяц девятнадцать! Я – старуха. Откладывать дальше с институтом вроде некуда.

Остановилась на Полиграфическом. Редакторский факультет, отделение книговедения. Наверное, это то, что мне нужно. Это близко к литературе.

Ушла из своего «горячего окошка». Перешла на телеграф. Ношу телеграммы. Так у меня больше времени на подготовку к экзаменам.

Летом опять центр слуха-речи. Замечательный дефектолог Белла Юрьевна Абелева. Оказалось, что мы живём по соседству, возвращаемся домой обычно вместе, болтаем всю дорогу, она молоденькая, обожает театр. Цирк тоже любит, Енгибаров ей нравится. Каждому новому человеку мне нужно тут же рассказать о Енгибаре. И если этот человек Енгибарова любит – значит, человек хороший, можно общаться.

Девчонки из вагончика к цирку были равнодушны, о Енгибаре даже не слышали, так что говорить с ними мне было не о чем, тем более, они были одержимы сверхзадачей – той самой, о которой мне прожужжала уши Варвара Ильинична из Безбожного переулка: они мечтали найти в Москве мужей и «зацепиться» здесь. «Тебе хорошо, – говорили они, – у тебя московская прописка, можно замуж не спешить, а нам без этого – никак».

В августе сдала экзамены в Полиграфический институт. И поступила. Легко.

Мама была счастлива. А Фёдор даже не поздравил. Смотрел волком. Я думаю, он желал моего провала. Который бы подтвердил мою полную неспособность определиться в этой жизни. И дал бы ему, Фёдору, право услатить меня куда подальше – а именно: в его родной строительный институт, в город Днепропетровск. Но я лишила его этой возможности, и он злился, даже не скрывая этого.

Да и вообще Фёдор не имел привычки скрывать свои чувства. Хорошо это или плохо? Вроде, искренность – замечательное качество, но почему мне от этого замечательного качества так плохо и неуютно в жизни? Когда Фёдор приходит вечером с работы и зыркает в мою сторону, у меня всё сжимается внутри... и я завидую девчонкам из вагончика. Они завидуют мне (ах, московская прописка!), а я – завидую им (на них никто не зыркает!). Как несовершенна жизнь!..

«Томбэ ля нэжэ...» Падал снег...

Глава вторая

«Томбэ ля нэже...» – поёт задумчиво и немного печально Сальваторе Адамо.

Поёт осенью 1969 года... в хмурой загазованной Москве, поливаемой нудными дождями...

«Томбэ ля нэже...» – поёт Адамо своим нестареющим, не тускнеющим голосом осенью 2005, когда я пишу эти строки. Поёт на моём маленьком безлюдном острове среди бескрайнего океана памяти...

Томбэ ля нэже...» – стоит мне услышать, и я мгновенно переношусь в конец 69-го года...

...И я оказываюсь в полутёмной аудитории на Садово-Спасской, в старом двухэтажном особнячке, с окнами на Садовое кольцо, где мы собрались 31 августа 1969 года, новоиспечённые первокурсники, и нам в торжественной обстановке было объявлено, что обучение будущих книговедов начнётся в колхозе, на картошке. Куда мы отправляемся прямо завтра. Просьба взять резиновые сапоги.

Поддубки

Первое сентября. Весь наш курс едет на картошку. На месяц.

Дмитровский район. Колхоз. По улицам деревни ползают, как тараканы, пьяные мужики и ругаются по-чёрному. Пробегают мальчишки. Какие-то все ободранные, грязные, и слова, которые выскакивают из них – такие же грязные... «Ты зачем ругаешься?» – спрашиваю с укором одного из них: мальчишке лет семь, подошёл к нам, открыл свой детский рот и... – ни одного нормального слова. А он смотрит на меня с недоумением: «Ругаюсь?» И тут до меня дошло: он ведь другого языка просто не знает!

Нам выделяют для жилья длинный барак. На весь курс. Активные девушки ринулись занимать койки. Но девятёрым коек не хватило. Девять девчонок, не стовариваясь, взяли свои рюкзаки и вышли на улицу. Была глухая, деревенская ночь. Ни одного фонаря в округе... Только огромная полная луна висела над разрушенной колокольней...

– Ну, давайте знакомиться, – сказал кто-то из нас.

Так мы и познакомились: Наташа Дюшен, Оля Тишлер, Оля Лянь-Кунь, Лена Семененко, Марина Мамаева и я. Были среди нас ещё три девочки: вторая Наташа, ещё одна Лена и Вера.

(Так с тех пор и дружим, вот уже более тридцати лет. Первые годы были просто неразлучны: наша шестёрка и эта тройка).

...А тогда была ночь, 1 сентября 1969 года. Подмосковный колхоз.

Объявился пьяный бригадир и отвёл нас в соседнюю деревню. На постой к одинокой старушке. Деревня называлась Поддубки. Изба была огромная, старинная, видно, строилась когда-то для большой деревенской семьи. Сейчас жила тут бабушка с петухом. Петух был очень активный, он яростно клевал всех незнакомых, кто заходил во двор, и служил у старушки вместо сторожевого пса.

Старушка предоставила нам большую комнату. Бригадир выдал матрасы, точнее – пустые наматрасники, и мы пошли среди ночи, при полной луне, на скошенное поле и там набивали их мокрым от густой росы сеном...

Так полтора месяца и спали – на полу, на лежащих рядышком сырых матрасах.

В комнате были старинные часы с боем, они били каждые полчаса. И ночью, разумеется, тоже...

...Уборка картофеля, под дождём, по колёно в грязи... по ленте транспортёра ползёт мокрая, грязная, полусгнившая картошка – пополам с комьями мокрой земли... картошку от этих комьев не отличить, наша задача – вычислять комья и сбрасывать их с транспортёра... перчатки – как будто слеплены из жидкой ледяной грязи, куртки мокры насквозь... рук – не чувствуем... в сапогах – хлопает...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.